



С У М Е Р К И

С У М Е Р К И

№ 3

1988

Сумерки - заря, полусвет: на востоке
до восхода солнца, а на за-
паде, по закате;

/вообще/ полусвет, ни свет,
ни тьма;

время, от первого рассвета
до восхода солнца, и от за-
ката до ночи, до угаснутия
последнего солнечного света.

/Владимир Даль. Толковый словарь живого
великорусского языка/

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия проза

	Стр.
Юрий Галецкий. Стихотворения	3
Леонид Межибовский. Четыре рассказа о превратностях превращений	12
Михаил Генделев. "Когда я поеду в Не-знаю-куда".....	33
Серафим Четверухин. "Дмитрий-Царевич" и другие рассказы....	46

ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ

Николай Байтов. О Владимире Набокове.....	74
Ирина Ильина. Три текста об Анатолии Васильеве.....	101
От редакции	1047

ЭТАЖЕРКА

Василий Комаровский. "На площадях одно лишь слово - "Даки"..	108
Борис Вахтин. Абакасов - удивленные глаза.....	122
"НЕ ГОРОД РИМ ЖИВЕТ СРЕДИ ВЕКОВ..."	158

Редакция: Ирина Брондэ

Алексей Гурьянов

Александр Новаковский

Дмитрий Синочкин

Обложка: П.Никонов

Фото: Ю.Ермолов

195197, пр.Металлистов, 113 - 20
Новаковскому А.Е. /тел.213-52-08/

Юрий Галецкий

С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

/1975 - 1988/

Наш подлый век кончается. Я в нем
 одну эпоху пережил младенцем,
 грызущим кукурузу — хмурый школьник,
 желающий податься в космонавты —
 на фото и ---- /я возвращаю ваш портрет,
 генералиссимус/, — в аквариуме скачет
 придурковатое властителя лицо.
 И улыбается кубинец бородатый,
 и все читают Солженицына, и вещи
 китайские с прилавков исчезают.
 С другой совпала молодость моя,
 я в ней посажен не был, не уехал
 отсюда, не повесился, не спился
 и на иглу не сел. Теперь вступаю в третью
 — все с тем же зонтиком
 и с перышком все там же...
 Вот только сердце беспокойней стало
 и посветлее разум, и еще
 упрямой мыслью чаще возвращаюсь
 я к маленькой какой-нибудь стране,
 в которой мне не довелось родиться.

Августин. 1925/87

грызущим кукурузу хмурый
 школьник, желающий
 податься в космонавты
 на фото и ---- "я
 возвращаю ваш портрет,
 генералиссимус" —
 в аквариуме скачет
 придурковатое властителя
 лицо. И улыбается
 кубинец бородатый,
 и все читают Солженицына,
 и вещи китайские
 с прилавков исчезают.

Петля гостиничного номера. И бред
 с участием балерины, и тоска,
 и шерстяное молока тепло,
 беспомыслие. Душа моя, не надо.
 Пустой стакан и романтизм кровавый.
 Не надо было нам сюда, не надо.
 Не нам с тобой в цилиндрах гарцевать
 и клоуничать, клянча европейства.
 Отчаянье бубнит капелью крана.
 Переводясь в строку, зачитанную на
 открытии кабака, панмонголизм,
 развалины доступны обозрению.

открытый кабака. Азия с не забавы.
 Развалины доступны обозрению.

/Ленинград, гостиница "Англетер", 1925/87/

. . .

Ночь пирамиды, тень, азийская усмешка
истории - в усы,

но страх прилип к пустым зрачкам,
пустынным.

Дым папиросы, тень. Перебирая
бумажную бессоницу надменно,

о пошловатом красном карандашном
подумал росчерке -

и слышит скрежет медный.

Ворочается сердце тяжело.

Империя благовеет.

Ей пуще хлеба надобен Отец.

Им слаще зрелищ знать, что есть ответчик.

За всех, за все.

Он думает: ужели

когда-нибудь придется умирать

мучительно и долго, утопая

в своем говне - и все они столчатся

вокруг, и будут с жадностью глазеть

на это унижение - ужели?

Есть пламя и песок.

Есть пепел и петля.

Молчит, не бьется мрачная душа

актера, он негромко повторяет: я

бессмертен как безмерна власть моя, -

но - скрежет, тень, и раб простерся ниц,

а шут свое на дудочке играет.

. . .

Лицейский брат, ты пишешь, что кому
 нужны мы, жалкие музы́ки птицеловы...
 Есть благодать в простом и чистом слове,
 которое и сердцу, и уму.
 Я помню о тебе, ты вспомнишь обо мне.
 Есть правота души и Божья правда,
 лицейский брат, и эта мысль отрадна,
 мы возду́ху нужны. Наедине
 с собою не хватает мне тебя,
 мой нежный брат. В пространстве скоротечном
 не будем думать ни о тленном, ни о вечном,
 но - будем жить.
 По сердцу. По губам.

. . .

Из многих рек, из множества речей
 язык поэзии, Наталия, родной мне -
 в губах воспоминание о доме,
 труд сердца и пыланье на луче
 упрямых мотыльков, текущих в свет...
 Записывая откровенья ночи,
 счастли́в я с ангелом и весел с быстрой строчкой
 - о, кроме музыки ни радости мне нет,
 ни веры, ни надежды, ни любви,
 но есть ли кроме музыки хоть что-то.
 Таинственна прекрасная забота -
 извлечь ее и удивиться жизни
 в руках, и выпустить, возлюбленной большие
 глаза целуя.
 С просинью травы.

. . .

Зима из хладного уководит сада,
и дерево, которое гравер
в металл впечатал, оживает -
и дышит жадною душой, и открывает
лицо строке, и в ясный дождь влетает.
Так некогда не Он - сестра Его
скорбящая, Мария воскресла.

. . .

Любимый мой, когда глаза
моей любви в Тебе открылись,
казалось мне, что счастья выше
уже не будет -
я себя увидела и удивилась.

Любимый мой, когда среди
учеников с Тобою шла,
я чувствовала:
никогда
не будет радости мне большей,
но только быть с тобою рядом.

Любимый мой, когда один
Ты царствовал в страданье крестном,
а мы стояли в стороне,
молчала - не переживу,
пережила

садовник

сад

. . .

Нам счастья нет,
но радость нам дана.
Пока еще мы знаем удивленье.
И сердца торопливый перезвон —
с лукавым привкусом надежды.

Вот розыгрыш дешевого вина,
а дорогого нам не надо —
— и ласточка над головой
все ластится к ветвям небесным.

. . .

... И снова возвращение к воде,
где капитан на берегу чужбинном
глядит в пространство. Зыбкий Петербург.

— О что мне вечной юности тепло,
зачем бессмертье с губ твоих влюбленных...

Он на ветру прикуривает,
спичка
как быстрая строка
----- и всё перед глазами
далекий лес ахейских кораблей.

. . .

Сижу, взирая, как уныл
простор кладбища неопрятный,
где имена родных могил
и дым отечества приятный.

Печальный сторож, я познал
великих языков реченья,
в оригиналах изучал
ведийства мудрое течение.

Природы воля и закон
мне открывались понемногу,
в душе звучит свободы звон,
ей слышно ангелов и Бога.

Ей ведом гад подземных ход
и неба ясное сиянье —
но что же грусть ее гнетет
на побережье мирозданья?

Где вид и скучен, и уныл,
где много мерзости и мало
прелестных глаз, прекрасных крыл
в глухом кладбищенском тумане.

. . .

Какая нега, Боже, разлитá
в пространстве, грезящем любовью и музыкой...
Сидит звезда. Деревья торжествуют
свое единство с ясною рекой.

Мир небом полн, мир светом напоен,
мир дышит красотой и совершенством...
Как чуден Днепр! И сонные цыгане
устало режут путника в ночи.

Эскиз: белые ---- белые ночи

Александр Хохреву, *to Saint*

Под белым небом Петербурга
Петровской набережной берег,
где ты плывешь в больничном танце
под белоснежной простыней.

Прости, прости, - смеются губы.
Прости, - щебечет надзиратель.
Прости, - убийца твой вздыхает.
Висит на ветке автомат.

Бредут слепые партизаны,
бежит поручик за пастушкой,
голубоглазые джазмены
рисуют полуночный дождь.

Под белым небом Петербурга
горят мосты, гуляют рыбы,
летит Нева над фонарями,
к холсту пришитен ангел твой.

Над бильярдом апельсинов
монашка ^{БЕЛАЯ} ~~СЛОВА~~ целует
тебя - так маково, так нежно...
---- тебе не надо ничего.

Мотоциклист - печальный рокер -
остановился, поднял руки
- и, плюнув вдаль, ^{РВАНУЛ} ~~СЛОВА~~ педали,
дымок размазав по воде.

+++++

В прокуренной фанзе
на пол весело сброшен
сквозняком белый лист.

Леонид Межибовский

ЧЕТЫРЕ РАССКАЗА

О

ПРЕВРАТНОСТЯХ ПРЕВРАЩЕНИЙ

ИСКУССТВО БРОСАТЬ ЛИПУЧКИ

Рука заведена за голову, кулак с затаившимся в нем комком лишкой ленты заброшен к лопатке.

Медленно рука расправляется, кисть зависает над плечом и остается там, пока я выбираю цель. В жару улица малообитаема, и ничего подходящего я не нахожу.

Я стою вполоборота к солнцу, и обращенная к нему половина меня прогревается, поднятая рука растет и вытягивается вдвое. Кисть краснеет, большой палец отгибается, и из пятнышка засохшей крови у ногтя вылезает продолговатая, витиевато сужающаяся к кончику почка. Добравшись до размера бобового стручка, она прорывается, и коричневатая, прозрачная виноградинка вылупляется из нее. Крупный, с воробья, комар, отмахивающийся веером от жары, срывает ее на лету. Я пытаюсь перехватить похитителя второй, еще нормальной рукой, но она коротка и не достает до него.

Жара постепенно спадает, и рука постепенно же возвращается к привычной длине.

Улица оживляется и наполняется событиями.

И я делаю выбор.

И я разворачиваюсь на цель — стального цвета пуделя, поднявшего ногу под елкой, вечно зеленой у балкона, на котором...

Вадик Беломелов однажды приснился сон. Вадик Беломелов летал, оборотившись соловьем, потом обосновался в ветвях той елки и пускал залихватские трели, наблюдая между делом, как с того самого балкона его квартиры я покушался на пуделя.

... Рука напрягается, пальцы готовы разжаться, и ладонь вот-вот согнется в три погибели и вытолкнет липучку. Та начнет пикировать, затем раскроется, вытянется во весь рост и мягко опустится на нуждающуюся собачку.

С цели сбивает меня Вадик. Он сбивает и ленту с прицела.

Он подкрался сзади, встал на цыпочки, ухватился за грозную мою руку и... я выдернул ее и отскочил. В животе загурчало, — то шевельнулось недоброе.

— Чего тебе? — сердито спросил я.

— Я только хотел посмотреть, что у тебя там, и ничего, ну совсем ничего больше, — сказал Вадик; наклонив голову и вобрав

ее в плечи, он принял извиняющийся вид вопросительного знака и лукаво постреливал глазами из-под верхней его закорючки.

Он был обходчив, а я — отходчив.

— А ты угадай, — предложил я, перенимая лукавство.

— Камень?

— Нет.

— Птица?

— Нет. А какая, ты думаешь, там может быть птица?

— Хозанская, какая же еще?

— Нет, не она.

— А если я скажу, что там лошадь, ты спросишь какой она масти?

— Может быть, и скажу, — утвердил я догадку.

Вадик высунулся за перила и заглянул вниз.

— А в кого? — спросил он, внимательно разглядывая низ.

— А ты угадай, — сказал я.

Вадик сложил пальцы в кулак, оставив указательный указующим, а большой большим и оттопыренным, опер для верности этот пистолетик на запястье другой руки и направил его на улицу.

В целях, оказалось, он разбирался лучше, чем в средствах.

— В этого? — спросил он, наставляя оружие на пуделя, который уже справился со своими делами и собирался покинуть гостеприимную сень елки.

— Да, — сказал я, — не трогай его, он мой.

— Только чтобы шуму потом не было, а то вон какой рядом пасется, — предупредил Вадик. Перевел пистолет на собачьего хозяина и разрядил в него обойму.

Я не был из тех лопухов, которые бросают их, почти не глядя, куда и на что они попадут да и попадут ли вообще, а затем в ужасе от собственных храбрости и безрассудства прячутся в какой-нибудь темный угол или под кровать. Или — наоборот — вместо того, чтобы вовремя смыться, они дожидаются, когда липучка настигнет жертву, та встрепенется, заметит бомбардира и отомстит.

Мне же зазевавшийся зевака или кто случайный случится по близости — не подходили. Я всегда старался найти кого-то поособеннее, но везло мне нечасто, и я редко бывал по-настоящему удовлетворен. Клопомор, которому больше приходится иметь дело с тараканами, поймет меня. Я не был узким специалистом, скажем, по тонконогим толстякам или дамам в шапокляках — диапазон моих

избранников был велик. Наверное, чью-то способность (например, пуделя) стать моей целью, откликнуться (пусть даже вынужденно) на мой порыв я ощущал внутри себя.

Я бросаю липучку, с размаха падаю на пол и уползаю с балкона: и возвращаюсь к отложенной с утра шахматной партии.

В попадании же я не сомневаюсь — глаз и рука никогда не подводили меня.

Пауза. Половину ее заняло падение ленты, а вторую — осмысление пуделем происшедшего.

И вот он засуетился, завизжал, перекрывая визгом уличный шум, а суетою — движение. Он завертелся вокруг елки, потом стал кататься на спине в тщетной (ибо я пользовался качественными липучками) надежде отцепиться, а затем, словно с цепи сорвавшись, ринулся по кривобоким эллипсам вокруг елки. Его хозяин устремился на помощь, но безумствующий пудель уже ни на что не обращал внимания. И они бежали один за другим, но собака была скорее на ноги, и расстояние между ними сокращалось — она нагоняла хозяина.

Часть тротуара и проезжей части, по которой хозяин носился со своим несчастным, обступили пешеходы и водители. Они раздавали советы и кляли негодяя. Громче же всех, что видела и все знает, и не позволит негодяю уйти от возмездия, верещала крохотная старушка в шапоκляке, сдвинутом назад на ковбойский манер.

Наконец, хозяин выдохся и остановился, пудель налетел на него, споткнулся и упал, и уже очутившись в освободительных руках, жалобно заскулил.

Вадик сосредоточенно думал над тягостной для его короля позицией. Я тоже сосредоточился и наметил окончательную для того короля комбинацию.

Наблюдать уличный кавардак я мог в просунутый в форточку перископ, но конструктор снабдил его кривыми зеркальцами, и картина получалась искаженной и не очень веселой.

— Ну и шуму из-за тебя, а мне тут думать надо, — сказал Вадик.

— Ничего, ты еще поборешься, — пообещал я.

Он нерешительно двинул слона на а5 и медленно убрал с его шеи палец.

— Слон — не синица, вылетит — не поймаешь, — сказал я, довольный тем, как точно рассчитал ходы.

Пудель благополучно избавился от свалившейся на него напасти, и шум кончился.

Мы сделали еще несколько ходов, и вадикова погибель стала очевидна и ему самому.

Но в решительнейший момент — во спасение короля — позвонили в квартиру. Вадик было вскочил открывать — и не успел; Анна Сергеевна, его мама, открыла без него, и он остался у разбитого войска.

— Кто это к вам? — как мог небрежнее спросил я. Между тем, неприятное подозрение уже прыгнуло за пазуху, забеспокоилось там и отвлекло меня от грядущей победы.

— Не знаю, — сказал Вадик. По его растерянному лицу я понял, что подозрение скакнуло и к нему.

— Лучше бы я просто проиграл, чем это, — обреченным голосом произнес Вадик.

— Ничего, образуется как-нибудь, — утешил я его.

Мы прислушались. Из-за двери доносились голоса, причем преобладал в разговоре голос незнакомый и раздраженный.

Через три с половиной минуты коридорной напряженной и конфронтации в комнату заглянула хмурая Анна Сергеевна и вызвала нас к барьеру.

В коридоре мы обнаружили пуделя и его хозяина — солидного, мордатого, пыщущего здоровым негодованием дядю, — двумя пальцами он брезгливо придерживал злосчастную ленту.

Пудель увидел сначала Вадика и зашелся лаем, но, разглядев и меня, стушевался и, протиснувшись в приоткрытую дверь, сбежал в лестничную клетку.

— Чья? — спросил дядя, размахивая перед нами липучкой.

— Моя, — ответил я.

Признание почему-то еще больше рассердило его, и он опять открыл рот.

Анна Сергеевна шагнула от него, как бы отталкиваемая гневом, и негодуяще взглянула на незванного гостя.

Он приосанился, пригладил усы и бакенбарды и представился:

- Николай Петрович.

- А пуделя, кстати, как? - спросил Вадик.

- Не твое дело! - оборвал Николай Петрович.

- А я бы назвал его Вахтангом, - мечтательно сказал я.

- Не твое дело! - снова оборвал Николай Петрович. - Так кто бросил?

- Это я бросил, - сказал я твердо.

- Он, наверное, с мухой его спутал, - вступился за меня Вадик.

- Тебя не спрашивают, - еще раз оборвал Николай Петрович.

- Он вывесил ее, а собачка и попалась, по ошибке, конечно, - не разобралась что к чему, вот и влипла, - гнул свое Вадик. - Где уж ей разобраться: она все-таки не такая разумная, как кажется, коли орет по пустякам.

Николай Петрович оставил эту оскорбительную для его пуделя версию без комментариев. А я еще более твердо повторил:

- Это я бросил.

- Я сообразил, что так как я не сын Анны Сергеевны, а Вадик не виноват, то по домам - ни у Вадика, ни у меня - ругать нас не будут.

- А если вас интересуется - зачем, - начал я.

- Вы даже не представляете, как он здорово бросает, и ему очень трудно удержаться, - объяснил за меня Вадик.

- Это уже выходит за все границы возможного, - взбеленился Николай Петрович. - Я...

- Для меня нет ничего невозможного. Куда хотите попаду. На спор, - перебил я. - Но, может быть, я могу что-нибудь сделать, чтобы вы не обижались и пудель ваш тоже не обижался?

- Ну и чешутся у меня руки, - сверкнув глазами, сообщил Николай Петрович.

Анна Сергеевна подошла ко мне и положила руку на мое плечо.

- Да, понимаю вас, - спокойно сказал я. - А у собаки, наверное, чешутся зубы.

- Да у нее от страха до сих пор зуб на зуб не попадает, куда уж им чесаться, - опроверг меня Вадик.

- Давайте, я извинюсь, - сказал я Николаю Петровичу.

- И будем считать, что произошло недоразумение, - заключил Вадик.

- Мне и очень стыдно, и извините меня, пожалуйста, и пу-

дель ваш пусть тоже меня извинит за доставленное беспокойство, хоть он и сбежал за дверь, что не очень-то и вежливо, но вы передайте ему мои извинения, — попросил я смиренно. — Я же не виноват, что так замечательно бросил, — добавил я.

— У него же дар божий, потому что он совсем не есть яичницу, — сказал Вадик.

— Ну...! Нет! Так просто ты не отделаешься! Прежде я тебя отделаю. Стрелок! — свирепо и многообещающе произнес Николай Петрович.

И тут он мне совсем не понравился. Я уже было решил, что недоразумение исчерпано, и думал отпустить Николая Петровича с миром, но его упрямство и назойливость рассердили меня.

Я сощурил глаза, и солидный, мордатый Николай Петрович увиделся мне меняющимся на глазах, — он расплывался, принимая новые, казалось, даже несвойственные ему очертания: и, наконец, окончательно приняв вид гиппопотама, стал переминаясь на своих четырех лапах с видом гиппопотама, который не знает, как бы ему половчее удалиться.

Пудель взвизгнул под дверью и метнулся вниз по лестнице.

— Прекрати! — громко сказала Анна Сергеевна. — Перестань издеваться!

Я еще на минуту продлил картину, потом широко раскрыл глаза — вместо Николая Петровича в самом деле стоял гиппопотам.

Анна Сергеевна вздохнула и осела на стул.

Я еще несколько раз сощуривал и открывал глаза, но обратного превращения не происходило.

— Не получается, — сказал я.

— Здорово у тебя получится, — восхищенно сказал Вадик, — только нельзя ли его немножко уменьшить, а то ему так и придется остаться в коридоре.

Николай Петрович по-прежнему с виноватым выражением того, что пять минут назад еще было лицом, переминался с лапы на лапу, очевидно, испытывал какие-то затруднения.

— А что с ним теперь делать? — спросил Вадик.

— А вам, — обратился я к Анне Сергеевне, — не нужен беспризорный гиппопотам, пусть даже и Николай Петрович? Но зато породистый: смотрите, какие у него усы и бакенбарды!

Она ничего не отвечала, а лишь грустно смотрела на меня.

— Наверное, нужен, — сказал Вадик, — Но он же сколько жрать будет!

— Не бойся, сколько дашь, столько и съест, я их породу знаю, — сказал я.

— И имя у него длинное — в хозяйстве неудобно, — не соглашался Вадик.

— Бобиком назовешь, и ладно, — сказал я.

— Подожди, а он мышей ловить умеет? — не унимался Вадик.

История с Николаем Петровичем затянулась и уже порядком надоела мне.

— Поживет у тебя — все про него и узнаешь, — сказал я.

Тем временем король Вадика свалился с доски, превратился в толстую белую мышь и собирался бежать от поля брани подалее.

Гишпопотам принюхался, фыркнул, уменьшился вдвое, ворвался в комнату, прыгнул на мышь, слизнул ее и облизнулся. Повернул голову и преданно посмотрел на меня.

Я бросил ему пучок укропа. Гишпопотам поморщился, но все же собрал с пола весь урожай.

Тарабаня по перилам мотив колобка, по лестнице поднималась семилетняя сестра Вадика — Танечка. Она вошла, приговаривая:

— А там на улице такой пудель, такой пудель! И дрожит бедненький...

Увидала Николая Петровича и осеклась. Посмотрела на Вадика, пристально на меня и бросилась к Анне Сергеевне с криком:

— Зайку! Хочу зайку! Он же обещал зайку!

КОТ В МЕШКЕ

... Добрался я, наконец, до Тулы. Пришел на главную площадь. Там самовар стоит. И человек рядом — туляк.

Подсел я к нему.

Он спросил меня:

— Тебе чего, прихожий?

— Мне бы чаю крепкого, если можно, после дороги, — сказал я.

А он говорит:

— Я бы рад угостить, да заварки нет. А кипятка — сколько душе твоей угодно. Хоть залейся.

— Моей душе, — сказал я, — много кипятка не угодно, а совсем немного хорошо бы, но с заваркой только.

— Нет у меня заварки — вот и сказ тебе весь, — отвечал он, А потом предложил:

— Можно что-нибудь и другое заварить.

— Чай — не суп, — из гвоздя не сварить, — сказал я.

— А ты пробовал? — спросил он.

— Ладно, — согласился я, — давай пробовать. Только что же заваривать будем?

Он оглядел меня и сказал:

— Вижу, мешок у тебя изношенный. Его и заварим.

— Нет, — сказал я, — его ни в коем случае нельзя, потому как неприятности от этого выйдут.

— А рубашки не жалко тебе? — спросил он.

Жалко, конечно, было, да отступать не хотелось. И заварили мы из рубашки чай. Не очень хороший. Но и не так, чтобы совсем плохой. Выпили. Даже с маленьким удовольствием.

И спросил он:

— А что у тебя в мешке?

— В мешке кот, — ответил я.

— А покажи, — попросил он.

— Нет, — сказал я, — не могу. Убежит он. Лови его потом.

— А цвета он какого?

— Цвета? — сказал я. — Не помню. Давно к нему не заглядыв-

вал.

- А кормишь-то как, если не заглядываешь? - спросил туляк.

- Просто дело "как", - сказал я, - положу что-нибудь в мешок - он и доволен будет.

Солнце поднималось и жарче грело. И пить сильно хотелось, И я сказал тогда:

- Давай чаю еще сделаем.

- Давай, - сказал он, - если штанов не жалко.

Жалко, конечно, да не отступать же. И заварили чай из штанов. Но хуже, чем в первый раз получилось.

- А все-таки, - сказал туляк, - что за толк в твоём коте?

- Не могу тебе сказать, - ответил я.

А он предупредил:

- Ты меня напрасно не серди.

- Хорошо, - сказал я, - направно сердить не буду.

- Сделаем так, - сказал он, - я загадку тебе загадаю. Отгадаешь - не говори секрета своего, а не отгадаешь - свой секрет моим будет.

- Твоя воля, - сказал я.

- Какой герб Орла-города? - спрашивает он.

Я подумал и отвечаю:

Орел.

- Не угадал. - обрадовался туляк. - Решка - герб. Так что сообщай свой секрет.

- В том коте, что у меня в мешке, - сказал я, - сом, а в соме - кролик, а в кролике - удав, а в удаве - еж, а в еже - волк, а в волке - ящерица, а в ящерице - индюк, а в индюке - яйцо, а в яйце - сверчок, а в сверчке - булавка.

- А в булавке-то что? - не выдержал он.

- А в булавке - жизнь. Вот тебе мой секрет, - сказал я.

- Чья жизнь? - спросил он.

- Твоя, конечно, - ответил я.

А солнце еще выше поднялось. И еще жарче стало.

И сказал я:

- Может, еще выпьем?

- Можно, - говорит туляк, - если шнурков от кед твоих не жалко.

Их меньше всего жалко было. И из них чай заварили. Слабый он вышел. Но все равно выпили.

А потом сказал туляк:

— А отдал бы ты мне жизнь мою, приятель.

— Не могу, — сказал я, — Не затем я сижу здесь да чай с тобой гоняю.

— Давай тогда бороться, — сказал он. — Ты поборешь — у тебя жизнь моя останется, а если я тебя — возвращай мне ее.

— Твоя воля, — сказал я.

Одолол он меня. На лопатки положил.

— Теперь, — говорит он, — верни жизнь-то мою копеечную.

— Нет, — сказал я, — не делается так просто дело. Надо еще бороться.

— Всё судьбу свою пытаться хочешь? — спросил он.

— Есть такое хотение, — ответил я.

На этот раз я его одолол. На лопатки не положил, но одолол все же. Огорчился он.

— Что же, — сказал, — у тебя жизнь моя, значит, останется.

— У меня, — сказал я. — Ты не беспкойся напрасно, я худого тебе не сделаю. Пока время не придет.

— А когда придет, сделаешь? — спросил он.

— Тогда — да, — сказал я. — А ты извини, коли что не так.

А за чай — спасибо, конечно.

— А когда придет оно — время мое печальное? — спросил туляк.

— Да зачем тебе? — сказал я. — Живи, пока живется.

— Попробую, — говорит он.

— Успеха тебе, — пожелал я.

А солнце в зенит вошло. Совсем от жары невоготу стало. И я еще чаю попросил сделать. И кеды туляку отдал.

Выпили мы по чашке напоследок.

Встал я, чтобы дорогой своей идти. А земля горячая. Сделал я шаг, а больше не смог.

— Видишь, — говорит туляк, — дело-то какое? Непутевое.

— Чувствую, — сказал я.

А он смотрит на меня и усмехается:

— На себя-то взгляни. Неужели и пойдешь так?

Застыдился я, взглянув.

— Давай, — сказал туляк, — я тебе башмаки сыму, чтоб по земле ступать можно было, и одежду, чтоб прикрылся, а ты мне жизнь за то оставишь.

Нечего делать мне было. Отдал я ему мешок. А он мне одежду кой-какую с башмаками.

И сказал я тогда:

– Слушай, я не весь тебе секрет мой открыл.

– Что еще? – спросил он.

– В булавке той, – сказал я, – не только твоя жизнь, но и моя тоже. Так что, сам понимаешь, не могу я без мешка остаться.

– Твое это дело, – сказал туляк, – а мешок у меня будет.

Иди куда дорога тебе.

И пошел я из Тулы. Без того, с чем пришел. А он так на площади и остался. У самовара и с котом в мешке, со своею жизнью и моею впридачу.

О ПОМИДОРАХ

Звонят долго и часто, как будто точно знают, что в квартире кто-то есть.

А был только я, убежденный родителями в том, что они очень дорожат мною, и что если я открою неизвестно кому, то: меня могут похитить, квартиру ограбить, а меня как свидетеля... дом спалить, да и мало ли еще что может приключиться.

Был я в меру запуган и не в меру любопытен. И каждый звонок вызывал у меня множество догадок о звонившем. Но я оставался стойким и не поддавался искушению открыть. Я придумал игру — после такого звонка загадывал, кто бы это мог быть, и держал себя с ним так, как если бы я на самом деле он был, и я бы на самом деле его впустил. Надо сказать, что репертуар мой ограничивался героями книг, которые я читал.

Я не любил обманываться, а это случалось, когда я все же открывал. И однажды вместо богатого дядюшки из Америки передо мной предстал почтальон с извещением о смерти отдаленнейшей родственницы из Кишинева. А в другой раз, не помню — то ли большим Гансом, то ли крысой, — оказался управдом, зазывающий на субботник.

Звонок делает паузу, а затем продолжается. Я уже знаю, кто пришел, хотя Черный Джек не показывается днем: может быть, думаю я, для меня он сделал исключение.

Мне кажется, звонок начинает хрипеть от натуги. И я не выдержал. Подошел к двери и сдавленным, волнуемым голосом пискнул:

— Кто там?

— Я это, я, — отвечает мне Таня, живущая этажом выше.

Я распахиваю дверь. Таня медленно отлепляет от кнопки палец и спрашивает:

— Что не открывал?

— И я сдавленным, но уже от разочарования, голосом буркнул:

Нул:

— Занят был.

Таня – большая красивая сорокалетняя женщина – знает меня с пеленок. И я, наверное, по праву тех моих пеленок говорю ей "ты" и называю по имени. И потому могу позволить себе быть не очень вежливым.

– Извини, если занят, – сказала она, – а на Турмалиновской помидоры есть, и я очередь заняла, и для тебя тоже. Но если ты занят, то о чем говорить?

Но захотелось мне помидоров, и я сказал:

– Я пойду, конечно, раз так.

– Вот и прекрасно, – обрадовалась Таня, – хоть не одной стоять, а денег я тебе дам, только сетку возьми.

Идти до Турмалиновской три квартала. И пока мы шли я рассказывал Тане о том, что занимало меня в последнее время.

Мне представлялось, что я, все окружающее и все происходящее существует во сне некоего великана. Он лежит на горе, расположенной где-то за экватором, под огромным деревом и оттуда все видит – и далекое, и близкое. Но видит не потому, что у него замечательное зрение, а потому что ему все снится. Абсолютно все

Таня думала о чем-то своем, но улавливала и то, что я говорил.

– А что же дальше? – спросила она.

– А дальше он может проснуться, и тогда все исчезнет.

– Что все? – не поняла Таня.

– Все. Люди, птицы, река, обезьяны в зоопаду, город, митохондрии и амфибии, – объяснил я.

– А помидоры что? Тоже исчезнут? – испугалась моя спутница.

– Конечно.

Мы сделали еще несколько шагов. Таня внезапно остановилась, внимательно посмотрела на меня и сказала:

– Пойдем скорее.

Она схватила меня за руку и потащила за собой. Я не поспевал и мне приходилось бежать. Один раз я остушился и повис на таниной руке, как тяжелая от помидоров сетка. Таня, не останавливаясь, поставила меня на ноги, и мы побежали еще быстрее.

Мы не успели.

ОКОНЧАНИЕ СПЕКТАКЛЯ

Виктор Иванович Гданьский, театральный критик, знакомый мне по десятку газетных публикаций, скучал в третьем ряду партера. Среди театралов он почитался профессионалом, занятия его требовали известной привычки к скуке, и потому скучал он тоже профессионально. Говоря проще, он спал.

Виктор Иванович знал, когда нужно ему просыпаться. Не перед антрактом, чтобы поспешить в буфет за бутербродом с подозрительной котлеткой и стаканом пресного сока. И не перед концом спектакля, чтобы быстро скользнуть в гардероб за своим недавно пошитым демисезонным пальто /Спешки он не выносил/. Просыпаться, по мнению Виктора Ивановича, следовало лишь перед кульминационным моментом спектакля.

Пьесу, еще не напечатанную, но уже на скорую руку поставленную, Виктор Иванович прочитал накануне, благо с автором — модным драматургом Пологим — он был в отношениях коротких.

Первый акт, как определил Виктор Иванович при чтении, не сулил ничего захватывающего. Члены последнего временного правительства монотонно обсуждали итоги деятельности его за два месяца. /Виктор Иванович принялся было считать министров, но на шестом заснул/. Действие чуть оживилось, когда Керенский прервал доклад министра земледелия Маслова. Куда больше, чем крестьянские дела, премьера беспокоила немецкое наступление, в котором не без наигранного театрального пафоса он винил военного министра Верховского. Тот вяло защищался, поминая бездарность командования на фронтах и погодные условия в тылу. Их препирательству конец положил остроумец министр почт и телеграфа Никитин, шутки ради предложивший послать в подполье запрос Ленину, чтобы он высказался о возможности переворота. Керенский брезгливо поморщился. На что автор произвел неожиданный /но, мне кажется, не самый сильный/ ход. Каждый из членов правительства представил вместо себя одного из видных большевиков. Лениным естественно же, по неприхотливой мысли Пологова, оказался Керенский. Троцкого взял на себя министр иностранных дел Терещенко — господин по виду из сибаритов. Свердлова разыграл человек ничем не примечательный —

Гвоздев, министр труда. Кому долженствовало стать Зиновьевым, Каменевым и Сталиным, Виктор Иванович успел подзабыть, а узнать по ходу действия сейчас не мог, так как /об этом сказано выше/ спал. Большевики не оценили опасной шутки Никитина и не произнесли о перевороте ни слова. Они пустились в рассуждения о задуманных ими проектах мира и наделения крестьян землей, после чего заговорили о национализации банков и промышленных предприятий. Когда это поднадоело и публике, любопытной пока только до восстания, и министрам, чьи полномочия по воле автора столь беспардонно были узурпированы, власть снова принял Керенский и заявил: "Нет!", имея в виду анархию, поражение в войне, голод и обесценивание денег. Засим последовал антракт.

Виктор Иванович к тому времени так разомлел, что не нашел в себе сил подняться и пройти по фойе. Когда же перерыв закончился, он даже громко вскрикнул, но звонок заглушил его, подавив благопристойный ужас соседа-провинциала.

Во втором акте Виктор Иванович ожидал большей динамичности действия. Ибо к членам правительства присоединилось военное командование и минут двадцать они энергично предлагали меры, необходимые для предотвращения смуты — большевики деликатно умолчали о ней, — грозившей захлестнуть просторы недавней империи. /Виктор Иванович выслушал две-три реплики, потом его взгляд скользнул по трафаретному лозунгу над сценой и угас под веками. /И здесь не обошлось без сюрприза. Едва дискуссия достигла накала /как в ранних эдисоновых опытах с лампочкой — слабого/, Керенский вновь изобразил приглянувшегося ему чем-то Ленина и возопил о мире и прекращении кровопролития любой ценой, не исключая возможности полностью поступиться национальной гордостью велико-, мало- и белоруссов и частично территорией эстов, ляхов и молдаван. /Интересы и чаяния узбеков, нивхов и кавказцев заботили Ленина почему-то значительно больше/. Решительным взмахом руки /после зафиксированным в монументах/, казалось, закончит он свой патристический порыв. Но не закончил. Потому что все остальные министры остались самими собою, что требовало изрядного мужества, и очутившись в явном меньшинстве /неподходящем для роли большевика/ Ленин ступевался и уступил место обратно премьер-министру.

Вся эта болтовня, все эти простенькие фокусы Полологого нима-ло не увлекали Виктора Ивановича, и он спокойно досмотрел свой сон, который опустим как не имеющий отношения к происходящему.

Но вскоре, по расчету Виктора Ивановича примерно за четверть часа до окончания, спектакль должен был вступить в кульминационную свою фазу. Через неприметную дверь в конце зрительного зала ворвутся солдаты и матросы, настроенные решительно и революционно, с гиком и посвистом /актер Колчагин будет восседать на крашеном вороном скакуне/ пронесутся мимо ошарашенной публики, захватят сцену и возьмут власть в свои мускулистые руки. А низложенное временное правительство вкупе с военным командованием опять обратится большевистским руководством и рьяно пустится разоблачать контрреволюционные и антинародные замыслы недавних себя же и поведаёт о единственно верных, по их единственно верному мнению, путях спасения России. /Здесь, читая пьесу, Виктор Иванович содрогнулся, но лишь заметил Пологому, что если актеры, исполняющие и членов обреченного правительства, и преуспевших большевиков, будут одними и теми же, то есть риск, что играя вторых, они продемонстрируют не революционную убежденность, а истовость ренегатов Пологий на это отвечал, что уверен, что зрителю надо доверять и он поймет как следует/. Коня же /Колчагин весьма упитан и только добрый крупнопородистый конь выдержит его/ новоявленное руководство великодушно пожертвует голодающим, чем впоследствии спасет лорда Галифакса – тучного англичанина, который безрассудно отправился исследовать положение на Волге и сгинул в желудках волжан. /Безумием от голода, они не пощадили даже лордовых башмаков с белыми тесемками/. Троцкий, правда, предложит приберечь коня/ "На то он и Троцкий", – подумал бы Виктор Иванович, когда бы не спал/, мотивируя это так, что гибель Галифакса свалить можно будет на поволжских немцев, что вызовет очередную англогерманский конфликт, столь полезный для раздутия мирового пожара. Но никто не желал дуть на чужой огонь, и лорд Галифакс мог собираться в беспрепятственное путешествие. Таким образом, комбинация с жертвой коня /а шахматы большевики уважали за шахматные столики с поместительным двойным дном/ не только вынудит Чемберлена послать благодарственную за спасение соотечественника телеграмму, но и упредит возникновение каннибализма в степях злосчастной державы.

Итак кульминация близилась, и Виктор Иванович начал потихоньку просыпаться.

Уборщица НОВОГО МАЛОДРАМАТИЧЕСКОГО Мария Филипповна, или как в ТЕАТРЕ ее называли вслед за заезжим гастролером-французом,

мадам Маруся, кончила прибирать и теперь обходила здание, проверяя все ли в порядке. Она заглянула в директорский кабинет, выровняла стулья перед огромным, как сцена, столом, поправила неровно висевший портрет К.Маркса/лицо изображенного было немного перекошено, как будто великому классику показали великолепный экземпляр лондонской жабы/, удовлетворенная содеянным вынула из потайного шкафчика початую бутылку коньяка и отхлебнула немного, после чего степенно удалилась. Мадам Маруся опустилась в подвальные помещения, где кроме нее редко вообще кто бывал, безразлично прошла их пустоту, задержавшись, чтобы смахнуть пыль с рояля, неведомо как и зачем доживавшего здесь королевский свой век. Потом поднялась по шербатым ступенькам широкой плохо освещенной лестницы и уперлась в дверь. Мадам Маруся приоткрыла ее и обнаружила перед собой темную массу зрительских затылков, а впереди — Керенского и прочих. Равнодушная к сценическому действию, считавшая, что должность ее сама по себе приобщает к искусству, мадам Маруся вернула дверь в прежнее положение, обтерла тряпкой бронзовую ручку и повернула было обратно, но вспомнила, что раньше всегда находила дверь запертой. Взбудораженная коньяком, она в сердцах помянула чью-то рассеянность, не без труда выудила из глубоченного кармана связку ключей и, отыскав нужный, замкнула дверь, абсолютно не ведая о назначенной ей в этот вечер исторической роли.

Пожалуй, настало время описать Виктора Ивановича Гданьского, потому что он открыл уже оба глаза, а ритм дыхания изменился и свидетельствует о том, что сны покинули нашего героя. /Кому интересно, как выглядит герой, когда он спит? Разве что поклонникам Морфея. Но я забочусь не о них/. Ему за сорок, он невысок, изящен, одет в серый костюм /не оригинален/, при галстуке /галстуки мне всегда казались неправильно понятым наследием влияния османских придворных манер, да вам виднее/, глаза — голубые, нос — лицо /черты мелкие, подбородок узкий/ было бы похоже на птичье, если б не маленький нос, найденный, вероятно, среди картофельных кустов, волосы цвета между желтым и серым — среднего и потому не совсем определенного. Что осталось? Да, уши. Наши критики питают к ним слабость. Чтобы их удовлетворить, скажем, что уши большие и оттопыренные, не только великоватые для головы, но и несоразмерные фигуре в целом. Таким в окуляры бинокля мы увидели бы Виктора Ивановича, окажись он на сцене. /Самые наблюдательные разгля-

дели бы еще и прыщик на... Лоб не упоминали, но в комплекте он есть/. Пока же не будем его беспокоить и оставим в кресле партера, в котором доселе безмятежно он плыл по течению спектакля.

Но теперь он уже бодрствует. Он даже подергал головой, чтобы встряхнуться и не упустить ни малейшей детали из того, что вот-вот случится. Сейчас /все готово к тому/ и произойдет до самое событие, которого Виктор Иванович терпеливо ждал вместе со всем угнетенным /впрочем, о том не подозревавшим/ народом.

... Солдаты и матросы, настроенные решительно и революционно, запаздывали. Виктор Иванович расслышал какую-то непонятную возню в конце зала /сколько он помнил - в пьесе непредусмотренную/, будто кто-то настырно ломился в дверь. Но за тем ровным счетом ничего существенного не последовало.

Виктор Иванович уловил недоумение, мелькнувшее на лице Александра Федоровича, и только. /Он пожалел, что в рецензии неуместным будет отметить его самообладание/. Министры и военные ничем не выдавали замешательства от задержки с превращением себя в большевиков и продолжали свои прежние речи. Растерянным выглядел только министр юстиции Малянтович, и Виктор Иванович подумал, что это типичное состояние меньшевика, если что-то идет не по плану.

... Спектакль закончился, и Керенскому так и не удалось окончательно стать Лениным.

Несколько озадачило Виктора Ивановича то, что Ефрем Невзоровский, режиссер, известный пошлым пристрастием к роскошным, аляповатым занавесам, на сей раз оставил сцену после ухода актеров открытой. Виктор Иванович усмотрел в этом намек, хотя намеки не были в манере прямоугольного Невзоровского.

Виктор Иванович прошел в гардероб и сразу же попал в водоворот очереди, в котором кружился обмен приятными впечатлениями от увиденного. Виктор Иванович решил, что справедливой была двусмысленная сентенция министра торговли Коновалова о том, что довольство происходит от незнания.

Внезапный сквозняк наполнил ветром парусные уши Виктора Ивановича и качнул его. Виктор Иванович схватился за мою руку, а вернув себе равновесие, извинился с виноватой улыбкой.

"Странно, - рассуждал сам с собой Виктор Иванович, ожидая пока отдадут ему пальто, - странно, что режиссер, видимо уже в ходе спектакля, отказался от такой выигрышной сцены, какую

предполагал в финале Пологий, значит он ничего не понял в пьесе. Или он побоялся показаться политически слишком смелым, сводя в сущности к одному образу обоих председателей правительств. Но тогда пропадает весь предыдущий эффект /не "ах" какой сильный, конечно/ от исполнения членов правительства и большевиков одними актерами".

Виктор Иванович, наконец, выбрался на улицу и медленно побрел домой. Он любил булыжные мостовые, которых немного осталось, и сделал небольшой крюк, чтобы идти по таковой. Уже стемнело, но была светлой ночь и прозрачной, как бывает, когда небо чистое и ясное.

Виктор Иванович почти дошел до ампирного стиля дома, завершаемого мансардой, где он снимал комнату. И вдруг вспомнил он, что заболевший перед премьерой Пологий просил его зайти после спектакля для разговора. Виктор Иванович чувствовал сильную усталость, словно долго и напряженно и в результате напрасно ждал чего-то. И больше всего хотелось ему сейчас подняться к себе, забраться в кресло, включить голую без абажура настольную лампу, вытащить из кармана примятую вечернюю газету... Но нежелание огорчить Пологую заставило Виктора Ивановича пренебречь перечисленными удовольствиями.

Идя вдоль Мойки, он сосредоточенно размышлял, о том, что скажет Пологую. От спектакля Виктор Иванович не в восторге, это ясно, и обманывать Пологую, конечно, не следует. Но он болен /ангины весь сезон преследовали драматурга/, и сообщить ему так просто, что спектакль по его пьесе несуразен и неумен, казалось Виктору Ивановичу не очень-то удобным и даже невозможным. В конце концов, решил он выкрутиться ссылкой на то, что режиссер много и неудачно переделал в финале. Выход не самый удачный, потому что /Виктор Иванович понимал/ и пьеса-то - так себе пьеса.

Поглощенный противоречием между правдивостью и милосердием Виктор Иванович вышел на Дворцовую в том месте, где река примыкает к площади. У ограды Зимнего он увидел толпу людей в солдатской и матросской форме. Они о чем-то совещались, потом разобрали штабель бревен, заготовленный перед Адмиралтейством для ремонта кровли, и разделились на группы, которые разошлись вдоль решетки и усердно принялись пробивать ее. Она глухо отзвывалась и не поддавалась. Большая часть окон второго этажа дворца светилась, и в этом свечении /показалось Виктору Ивановичу/

преобладали растерянность и страх. Он наблюдал за происходящим, стоя чуть поодаль, и уже подумывал, что благоразумнее сейчас было бы вернуться к Мойке и проходить ~~двумя~~ дворами выйти на Невский, но интересно было - чем все завершится /решетка кое-где уже проломлена, а из нескольких окон выставлены винтовки, пока молчаливые/, и он решил ненадолго остаться.

С Миллионной выехал на крашеном вороном коне Колчагин, - его встретили приветственным гулом. Он проскакал по площади, размахивая пистолетом и стреляя беспорядочно по дворцу. "Быть бы ему осторожнее, а то ненароком кого из своих же зацепит", - мысленно обратился к нему Виктор Иванович. Внезапно конь поднялся на дыбы, резко поворотил на месте; Колчагин удержался в седле, но от неожиданного толчка дернул курок. Виктор Иванович заметил вспышку у него в руке и, ощутил легкое жжение в области живота, упал на милый его сердцу бульжник.

Когда, наконец, подоспела карета скорой помощи - немыслимая в возникшей вскоре на площади сумятице, она пробралась сквозь нее лишь благодаря вмешательству Невзорского, руководившего приступом, - Виктор Иванович Гданьский был мертв.

Иерусалим! Иерусалим!...
сколько раз хотел Я собрать
чад твоих как птица птенцов
своих под крылья...

Лк, 13, 34

Без стихотворений, которые перед
читателем сейчас, нет моих семидесятых.

Но такими ли они были тогда?

ТОГДА - на неподписанных листочках,

СЕЙЧАС - из книги Михаила Генделева
"Въезд в Иерусалим" /Ленинград, 1976/ -
оставленной им здесь.

А.Г.

Михаил Генделев

К О Г Д А Я П О Е Д У В

Н Е - З Н А Ю - К У Д А...

Когда я поеду в Не-знаю-куда - я не знаю!
Мой поезд отходит, еще собираясь кричать полным горлом.
Еще не проходит из детства слепец по вагонам,
Еще я себя напоследок к душе прижимаю.

Когда я поеду в Не-знаю-куда? Я бегу по перрону -
еще, дирижер, пантомима твоя для оглохших безумна!
Еще не кричал паровоз, и есть время купить папиросы,
еще огонек завершает пунктиром рисунок,
еще тишина не поднялась до глотки крещендо!
Напиток не может края перехлынуть прощанья...

х х х

Л.Г.

Нет, я еще переживу
 и эту жизнь, и выживание.
 Я не спущусь кидать в Неву
 печальный грошик расставанья.
 Чтоб он, чуть по льду позвеня,
 был запорошен ранней ночью,
 не ставший памятью меня,
 но и не бывший ею,
 впрочем.

Нет, я еще переживу
 к себе любезное вниманье.
 Свою последнюю вдову,
 свои угрюмые кривлянья.
 Дрянное, скучное вино
 между двумя ночами, ...
 между
 тем, что не память уж давно,
 но и не светлая надежда.

Мальчание дорогих утрат
 в молчании перебираем.
 Дичает на ночь Ленинград
 в полустепях своих окраин.
 Гриппозным снегом наяву
 сниженье, униженье тверди.
 Что я еще переживу
 под снегопад и чувство смерти?

... Я ночь писал. А утром стала мгла.
И дьяволы, ступая осторожно,
ушли... Тогда мне было невозможно
поверить и прожить. А ты спала,

а ночь мне диктовала: "Жизнь!" -
уже рассвет смеется надо мною.
И одиночество струею ледяною
омоет, напоит водою лжи.

Я продолжаю. Я засну сейчас -
Я выдумаю сон от слез горячий,
и демоны вернутся и незряче
заглянут в сердце, не узнавши нас.

Мы этой ночью не уснем -
пишу я под диктовку ночи,
что одиночество о вечности бормочет,
устраюсь в изголовии моем.

х х х

Л.Г.

Как ты поешь, не понимая, где,
в каких пределах, временах и странах
напев явился сладостный и странный -
моление о меркнувшей звезде.

Как ты поешь! А сонные века,
как медленные в перелете птицы
плывут в неколебимые ресницы,
и сень их утомленная легка.

Мы древней кровью этот мир поем,
в ушедших поколениях излитой
пронесших Песнь Песней, как молитвы,
проживших их в дыхании своем.

Когда и мы в суетности судеб
брести устанем и опустим очи,
в нас прозвучит сосредоточьем ночи
моление о меркнувшей звезде.

х х х

Когда название еще являлось знаком,
когда язычество еще кривлялось знаньем,
и у озер дымящих с ликованием
плодились бешеные звери Зодиака,

и сон припомнил первый император,
и ощущался миф от слез соленным –
тогда поднялись к небу очи брата,
затянутые плевой воспаленной,

и брат солгал, и принялся молиться;
раскрылось горло, и пролилось пенье –
И ангелы к нему склонили лица
и удивились откровенью.

х х х

Вот как тянет тоска к горлу мокрые лапки свои.
Ипохондрия голос срывает – цветок – с грустью палачески тонкой.
Что он плел о любви. Боже, что он там плел о любви –
злой схоласт и сладчайший повеса Востока!

Как любить в Петербурге – идти под садов потолки –
Петербург предназначен для всяческих меланхолий.
А когда-то слетали к лицу твоему мотыльки,
потому что горело лицо светом цели и боли.

И еще вдохновенный июль пел в садах, потому что был сад!
Нынче тяжесть души вычисляется в граммах петельных.
Что он плел о любви, видно был он чуть-чуть бесноват
от ночных мотыльков, что к лицу прилетели.

Как любить в Петербурге, как жить в Петербурге зимой,
между теми, кто ждет – и шаги отмеряет дистанций.
А построили город, забывши дорогу домой,
от крещенских морозов свихнувшись итальянцы!

Ну так что он там пел, Навои, мусульманский ручей,
утоливший Восток щебетаньем поэта.
Ипохондрия нынче у нас – замечает мечеть
до небес, до нелепости, до минарета.

х х х

Словно осень опять. Словно все не успеть не успел.
 Очерненные губы – я снова с них шепот читаю.
 До свидания. Я свое имя к полночи допел –
 Отлетаю!

Вереницы надежд моих – я был нетерпелив.
 Над заливом белеющим галочку ветер поставил –
 Полюбилось прощанье – прощайте, родной мой залив –
 Отлетаю.

Вереницы надежд перед стеклами желтых больниц.
 Даже близкие музыки не понимают – простая...
 ладно, прочие перезимуют, и что мне до разных синиц –
 Отлетаю...

К стеклам лица свои подносить я устал, стал от зренья я
 уставать.
 Всуе – только ли имя под оболочками кожи?
 Приучилась душа зимовать, вековать.
 словно в стенах чужих – в поднебесии Божьем.

Все вранье! Никогда не хотел перемен.
 Нынче, девочка, все-таки раньше светает.
 До свидания. Я не дотронусь до собственных вен –
 Отлетаю!

Но когда, ошалелый, я прижимаюсь к любви,
 на каком языке мне шептать от курения ржаво?
 И зачем не забыл, как прекрасны глаголы твои,
 немотою зимы подарившая прочих держава!

Удержи меня, Муза, любовь моя, в этом миру
 от плутаний, беспутства – совсем меня ветром мотает –
 ощущение земли, ощущение тверди даруй –
 Отлетаю.

Ж Ж Ж

Дымок меж пальцами течет,
когда, судьбу перебирая,
сбиваешь сердце на нечет
и в бесы сладкие играешь.

Еще не начался балет,
еще судьба неповторима,
а статуэтки бывших лет
пытаются коснуться ритма.

А ты внимательно ведешь
себя к движения пределу
и видишь, как вступает ложь,
когда б она ни захотела.

И в силуэтах пред собой,
другой души занявших место,
ты видишь, как странна любовь
в полете прерванного жеста!

Вступи и ты в мою игру
в своих повторах невеселых,
где я мелодию беру
на чуть фальшивящих глаголах.

Музыки столь случайна власть,
что только прикоснутся пальцы —
любовь, как танец, началась,
или еще подобна танцу.

Ж Ж Ж

Где снова осень не успела,
и сразу начались снега —
труба отлетная пропела,
и сад пылающий погас,
фигурка вечного танцора
не расстается с ним, пока
следит, как над полями сора
все в птицах кружат облака,
кружатся в птицах облака!

ж ж ж

Б.Т.

Неназываемые сны,
в них снятся детская обида:
еще ладони сведены,
а чашечка полуразбита.

В сосуде сердца не ищи —
он, как и все простые вещи,
он, как душа — лишен защит
и дребезжит миллионом трещин.

Сосуд переживает бой —
сосуд хранилище движенья —
наполненный самим собой,
как зеркало без отраженья.

ж ж ж

Ну, ступай... Пламя спички легонько дрожит.
Нас проводят до дома. В воду кинем окурки.
Вот и все, как не жил.
И покажется каждому, будто фигурка
по мосту со спасенья листочком бежит.

И почти добежав, вся в слезах от волненья...
только руку протянет навстречу свою...
На мосту, На рассвете... на коленях —
это, в общем, не важно, когда нас убьют.

ж ж ж

Ж Ж Ж

Все равно, все одно - ты изгой.
Не просись, примиришь. Ты - другой.

Не смуглее твой хлеб, не белей -
слезы слаще твои, дуралей.

Были игры твои - не чета!
А кругом обводилась черта.
И болело ангиной окно.

Мама, мама... такое кино.

Мы тяжелою кровью больны.
Под ресницами нечи черны.

Слышишь? Льдины ломает река.
Не кричи.

... Все равно на своем на горбу
через жизнь переносишь судьбу,
переносишь по корочке льда -

Уронить - не рискнешь никогда!

Все равно. Только вдруг на ледке
пританцуй, оттанцуй налегке!

Там, под тонкою кожей льда...

Дуралей, ну куда ж ты, куда?!

Там под скользкою корочкой льда
всех, как ночь, принимает вода.

Ж Ж Ж

ж ж ж

О музыка народа моего,
напев болезненный, в несчастьи признание.
Плач скрипок местечковых свадеб – похорон,
веселье где. Веселье.
Беспощадный, и надоевший, и привычно гневный
взгляд Бога на изгоев всех сторон.
Слепого Бога. Миг площадный,
Когда зрачком единым вперился погром,
и ожиданье. Ожидание и страх
за хрупкость жизненного равновесья.
И робкая любовь, смиренье на руках.
Зачем на это непохожий весь я
в тебе, о музыка народа моего!

ж ж ж

Туман относит ветер от реки
Не лучше ли: как ветер от тумана
относит реку... – так мы далеки
от берегов своих – и странно
нам возвратиться в прошлое сейчас,
когда мы возвратились – у причала
я перевоплощаюсь в толмача:
свою любовь перевожу сначала –
туда, где только тени тростника
хрустят, ломая сути сочлененья,
где, как слова чужого языка,
разучиваются прикосновенья.
... Тот берег ближе – этот вдалеке,
И лодочкой, отпущенной теченью, –
рукою – прикасаешься к реке,
даря прикосновенье и прощенье
за то, что больше не вернуться нам,
и мы – уже из будущего – верим,
что скрежет дна по каменным волнам
нам означает – ближе – этот берег.

Я не желаю участвовать в том, что называется "Современным Советским Искусством", я не считаю возможным ни печатно убаюкивать общество сном невиданного благоденствия /ныне не безумцы напевают "человечеству сон золотой", а очень даже разумцы.../, не собираюсь я и никого развлекать эстрадным номером "Человек-Еврей!"

Но я настаиваю на необходимости существования поэзии в обществе не на договорных началах - "ну мы-то с вами все понимаем". Я настаиваю на необходимости обществу поэзии, ибо поэзия помогает человеку сохранить чувство собственного достоинства в социуме, нисколько не шадящем в человечке ни Божьего, ни человеческого. Поэзия светит не только автору, но и его спутнику-читателю в слепых блужданиях из России в Россию, из Золотой Орды в Землю обетованную, из иудей в иудею и наоборот.

Но я настаиваю на отдельности моего творчества от современной литературы, ибо мой Сад и ее огород, не только находятся в различных климатических поясах, но и разновременны.

И пусть без моего участия, "под мудрым руководством Коммунистической партии и лично /.../ многонациональная советская литература переживает... /.../" ... все, что ей должно пережить.

"Заметки о поэзии". /приложение к книге: М. Генделев "Въезд в Иерусалим". Ленинград, 1972-1976, с.43/

Ж Ж Ж

Сядь, посиди со мной, налей мне вина - почти
несладкое это вино, и выпей сама
немного вина, и прочти:

"В белой халдее моей темь, и в черной халдее тьма".

Все я забыл, что хотел, и - знаешь, моя любовь -
и что хотел бы - забыл вместе с тем - вот и пишу о чем:
"В белой халдее моей тьма, и в черной халдее ночь" -
читаешь ты через мое плечо.

Посиди со мной. А время спустя
ах, кто же знает, что будет с нами потом?
Но нельзя искушать судьбу - мы у нее в гостях -
все дело в том.

И в том, что судьба - химера, и нехороша собою она,
И в том, что я знаю меру лишь по части вина -
и налей, хозяйка. В халдеях моих темь.
И шахматные фигурки пошли по полям не тем.

И сидишь рядом со мною лицом к луне.
Говоришь: "Время", я соглашаюсь: "Да".
А тем временем по халдеям еврей-идут-года,
а дальше века-еврей идут по моей стране.

А за ними диколицы тысячелетий орда
Облик несут как родовой тотем.
Ты говоришь: "Время", я соглашаюсь: "Да",
да, шахматные фигурки, да, по полям не тем".

Ты сидишь рядом со мною лицом к луне,
а я сочиняю письмо и кажется мне,
Ангел Смерти Малах ха-Мовет получит письмо, а о чем,
ты прочитаешь через мое плечо:

"Пора подумать о смерти - вот и думаю со вчера.
Думаю, что пора, мой Ангел, пора.
А ты, что сидит рядом со мной, но лицом к луне -
не возражает мне,

Пора подумать о смерти, о ней самой.
 Где вы крылами-то машете, ждете, небось, письма.
 В халдеях моих тьма, Ангел мой,
 в халдеях моих темь и тьма.

А смерти боюсь, мой Ангел, боюсь,
 но еще молодец, и хозяйка со мной проста.
 Ах, крылья ваши шумят и по небу бьют.
 И темнота.

Откуда летят облака бесшумно давить холмы.
 И не слушают гости мои в дому моем.
 Или не понимают меня - и тогда где это мы?
 И что будет с нами потом.

А надо бежать, так надо ль решать куда?
 Куда евреи пошли, и никто не пришел назад.
 Даже если вернусь - я не узнаю свой сад
 в городе, в который я не вернусь никогда.

"Моше Рабейну, - скажу я, - Моше Рабейну, нам не пора ли домой?
 Но мы отвлеклись, душа моя, итак, письмо:
 "Прилетайте, соскучился, Ангел мой".
 А росчерк получится сам собой, как и все получилось само.

И уж если по росчерку на краю листа
 не разобрать, что в халдеях моих тьма -
 и в черной халдее тьма, и в белой халдее не видать ни черта -
 Вина мне налей, и выпей со мной сама.

Маленькие примечания для советских читателей:

"Халдея". Страна, захваченная свободолюбивым арабским народом.
 Население эмигрировало в сферу быта.
 Малах ха-Мовет, "Ангел Смерти" - действительно, Ангел и действи-
 тельно Смерти. Живет в пустыне Негев.
 "Луна" та же самая, иногда вы ее тоже видите.
 "Моше Рабейну" - Моисей. Как общеизвестно, он заикался. Когда Гос-
 подь его спросил в Синае: "Ну, так куда вести твой народ?" Моисей
 стал выговаривать: "Кха...к-ха..." "А, понятно, - сказал Господь, -
 в Ханаан". А Моисей имел в виду Канаду. Вот такие дела.

"ДМИТРИЙ - ЦАРЕВИЧ"

и другие рассказы

В декабря 1988 года исполнилось пять лет со дня смерти Серафима Ильича Четверухина. Знакомство читателей с творчеством Серафима Ильича мы начинаем с пяти рассказов, написанных в 60-е - 70-е годы. Рассказы эти в значительной мере автобиографичны.

Д М И Т Р И Й - Ц А Р Е В И Ч

"... Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые -
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир..."

Тютчев, "Цицерон"

Этот странный вариант древней повести мне довелось услышать в несколько необычной обстановке. Начну издаleка.

Зиму и начало весны 1937 года я провел в пересыльной тюрьме, в начале мая вызвали на этап. Что такое этап, что такое лагерь, - я уже испытал, но...

Во-первых - ожидание хуже свершения.

Во-вторых, - быть в камере, рассчитанной на двадцать пять человек - судя по привинченным к полу койкам - в обществе двухсот, спать по очереди на полу, днем изнемогать от сутолоки и гвалта. ночью слушать бред и храп - это, конечно, не санаторий, как резонно говорил наш тюремный врач. И тут же спрашивал - а что вы хотите?

В-третьих - пытка еженедельных свиданий с женой. Свиданий, о которых иступленно мечталось, служивших вехой дней... Через два барьера и оконце нам, молоденьким влюбленным, можно было видеть, слышать, дотянуться кончиками пальцев, - но нельзя обняться, прижаться друг к другу... Каждая минута их была накалена радостью, болью, желанием, бессилием, и, падая со стрелки часов, прожигала душу. А все заканчивалось похоронным стуком дверей - за ней - на улицу, за мной - на тюремный двор... Лучше было уехать... Куда - все равно! Да и не спрашивали. Просто вызвали. На север.

В те молодые годы каждая тяжелая перемена смягчалась любопытством - а что будет завтра? Через год? Где я буду? Что я буду думать о нынешнем? Действовало и упрямство - выжить, выдержать, вопреки!... Наконец, помогала сама нелепость происходящего. Она превращала действительность в дурной сон...

К удивлению и радости, начало пути было благополучнее, чем в прошлом году. Конвоиры еще в подвале произвели сортировку, отделив "чистых" от уголовной "шпаны". И во всю дальнюю дорогу мы видели этих несчастных и страшных только издали. В запечатанном товарном загоне хорошо дремалось под стук колес. Места у окошек, полузабытых досками, были заняты счастливицами, и в полутьме ничего нельзя было делать. К разговорам не тянуло. Думалось, вспоминалось, молилось... Железная дорога оканчивалась в неболь-

шом городке. Вокзальную площадь осеняли могучие тополя с бесчисленными гнездами. Издали слышно было пронзительное карканье. Бараки стояли поодаль от городка над глубоким обрывом. Внизу текла именитая северная река. Весеннее половодье затопило противоположный берег, и деревья казались островами. Между ними сновали лодки. Горизонт окаймляли синие леса. Простором, покоем веяло от этой панорамы. Лишь холодноватый ветер рябил воду, да по земле к воде скользили тени облаков.

Но все это было перечеркнуто для нас колючей проволокой...

Дальнейшее путешествие было почти идиллией. Баржа досталась чистая, пахнувшая свежим тесом. В просторном трюме хватало места всем. За бортом плескались волны, а на потолке прыгали солнечные зайчики. Небольшими партиями нас выпускали на палубу. Какие картины проплывали мимо! С нами двигалась вперед хрупкая северная весна. Застенчиво доцветала ива. В лесу и овражках снег дотаивал. На пригретых местах высыпали желтые крапинки. Кустарники и молодая поросль сменяли палевую, лиловую, серую дымку на блеск молодой зелени. Сверкали ручьи, блестящие лужи. Сквозь крупные дождевые капли светило солнце. На этом фоне виднелись то ладные деревни, то каменный шатер храма, похожий силуэтом на стоящие возле него ели. И-за поворота возникали и уплывали вниз старинные городки. Их узорчатые колокольни взбегали на пригорок, чтобы вместе с ним опрокинуться в раздольную воду...

От красоты кружилась голова. Невыносимо резок был контраст между недавно покинутыми белеными стенами и нынешним дивом! Невольно рождалась мысль, что не так уж все безнадежно, что и в дальнейшем может встретиться, может утешить красота! Хотелось выскочить на берег, прижаться грудью к земле, целовать каждую былинку, благодарить ее за кроткую, неизменяющуюся прелесть...

О действительности напоминали резкие окрики конвоя и доносившиеся с соседней баржи то трогательные, то бесстыжие песни уголовников, их вопли и смертельная брань...

Но о действительности не хотелось думать. Разбившись группками, мы говорили о книгах, театре, живописи. Читали собственные и чужие стихи. Спорили. Только не касались двух тем: прошлого — это было очень больно, и будущего...

Отвлекал от грустных мыслей аппетит. Давно перестало хватать этапного пайка. Но все же мы согласились бы весь свой срок так вот : плыть, плыть да плыть...

Но все имеет конец.

Мы шли от берега мягкой песчаной дорогой среди молодых сосен с желтыми смолистыми "свечками". Пахло хвоей и прошлогодней травой. На поляне, между низенькими берёзками, стоял столик, за которым решалась наша дальнейшая судьба:

- Следующий! Фамилия, имя, отчество, год рождения, статьи, срок, образование, специальность?!

Папка направо...

- Следующий!...

Папка налево...

Мне выпало отправляться куда-то далеко, куда точно - не мог сказать никто. А пока нужно было пройти пешком по тракту километров триста до места со странным, похожим на щебет, названием.

Сдав, вернее - бросив все, что нельзя было пронести на себе, мы на следующее же утро отправились.

Шли мы так. Поднимались рано. Спал окутанный туманом лес. Земля была холодна до того, что обжигала. Во всем теле чувствовалась вчерашняя усталая ломота, и казалось невозможным идти опять. Кусок хлеба, кипяток и окрики подбадривали. Строились. Прилаживали мешки. Слушали скороговорку: "Шаг вправо шаг влево считается побегом оружие применяется без предупреждения пошли!" Лязгали затворы, урчали отпускаемые на длинные поводки собаки - и мы шли. Молча, разминаясь, борясь с остатками сна. Поднималось солнце, рассеивался туман, согревался воздух - и мы оживали, вытягивались в ходьбу, начинали разговаривать, глядеть по сторонам...

Первые два-три дня изредка попадались старые села на берегах рек или временные лесные посёлки. А потом - ничего. По обеим сторонам дороги - только лес, лес да лес. Глухой, труднопроходимый. Захламленный упавшими стволами и огромными дисками вывороченных корней. Заросший густым подлеском. Иногда на многие километры горелый. Как погасшие свечи, стояли на сырой земле желтые стволы с обугленными верхушками. Словом, неласковый лес, не похожий^{ни} на шишкинскую мощь, ни на нестеровскую нежность... Правда, трепещут на ветру тоненькие березы, топорщатся ели, но нет уютных полянок, не слышно разноголосого пения птиц. Угнетала непрерывность, бесконечность леса. Как бы высоко ни поднимались мы - а дорога шла с увала на увал - всё виделось одно лохматое зелено-бурое море с редкими окнами коричневых озер и изумрудами топей.

О человеке говорила лишь подсыпанная гравием дорога, канавы и телеграфные столбы вдоль нее, да нескончаемые, утомительно плясавшие под ногами бревенчатые гати.

Раза два в день устраивали привал. Садились на землю или ложились, подложив под голову котомки, подкреплялись оставшимися с утра кусками, пили воду из ручья или болотца, дымили махоркой да бездумно глядели в глубокое небо, одно оставшееся неизменным — что дома, что здесь...

Пройдя километров 25-30, подходили к "станку" — палаткам или домикам, где ночевали. Перед сном полагался ужин — кипяток и "затируха" — нечто вроде клейстера из ржаной муки.

После пяти-шести дней пути устраивалась дневка, когда подлечивались натертые ноги, штопалась одежда, чинилась своими силами обувь и можно было целый день лежать...

На одном из "станков" мне довелось услышать ту повесть, до которой я все не могу добраться.

Среди нас шел человек по фамилии Золотарев. Имени его не помню. Все звали его "профессором", но это было скорее уважительным прозвищем. Профессор был старик лет семидесяти, крепкий, рослый, с крупными чертами лица, громким голосом и острыми глазами. Седая голова его, как у всех, была коротко острижена, а серо-зеленая борода и усы имели колючий вид. Профессор был ^низнекан^о вежлив, но коротко не сходил ни с кем. Иногда шутил, что судья сделал ему, в сущности, комплимент, послав в лагерь на десять лет... Общий приятель Сережа, певший на привалах песенки Вертинского, сказал мне, что учился у профессора в немецкой школе, где профессор преподавал русскую литературу. В пересылке профессор помещался в соседней камере и читал там увлекательные, а иногда весьма рискованные лекции, например о Маяковском. Мои предприимчивые сокамерники ухитрялись попадать на эти лекции, а я только завидовал. Теперь, в этапе, мне очень хотелось познакомиться с профессором, который к тому же сильно напоминал моего деда, тоже учителя, но я боялся показаться навязчивым.

Однажды, окончив дневной переход, мы подошли к "станку". Им на этот раз оказался бревенчатый домик, глядя на который подумалось — как же там смогут разместиться сто человек. Впускали по очереди. Когда я попал внутрь, то и верхние, и нижние нары были уже переполнены. Оглядываясь, я заметил, что профессор опустился на колени и, волоча мешок, быстро пополз под нары. Я — за ним. И вовремя! Вошедшие после меня сидели всю ночь на полу.

прижавшись друг к другу. А под нарами, когда мы расстелили пальто и положили под голову мешки, стало почти уютно. Только сверху сыпался какой-то мусор...

Вытянув ноги и расслабив мешки, мы долго молчали. Но поев "затирухи" и выпив кипятку, разговорились. Профессор удовлетворенно сказал, что место под нарами самое спокойное, и что он предпочитает его любому. Потолковав о происшествиях дня, перешли на другое.

Наш путь уводил нас не только от обжитых мест, но и как будто в глубины времен. Городки, древнего вида постройки, безлюдье, дебри и тепы - все это походило больше на стародавнюю Русь, чем на современность. И мы разговорились об истории.

Я всегда увлекался ею, особенно ее путанными страницами. Любил читать о Смутном времени и находился под обаянием Платонова. Я сказал об этом профессору.

- Да, - ответил он, - интересное было время! А, между прочим, известно ли вам, молодой человек, что главное действующее лицо пережило всю эту драму?

- Кто?!

- Царевич Дмитрий.

- Какой Дмитрий? Углический или Отрепьев?

- Ни тот, ни другой. Настоящий Дмитрий Иванович, сын Грозного!

И профессор рассказал следующее:

- Занятие мое, как вы, быть может, изволите знать, - учитель. Сорок лет преподавал изящную словесность. Еще будучи студентом, заинтересовался местом, какое занимает в творчестве писателей их происхождение. Возьмите: "Моя родословная", "Арап Петра Великого" - у Пушкина. Шотландские мотивы и герцог Лерма - у Лермонтова. Лев Толстой в "Войне и мире" вывел целую галерею родных - от деда до свояченицы. И так далее. Я стал собирать все, что могло оживить сухое генеалогическое древо писателей, узнавая одаренность, вкусы и нрав людей, от которых они могли унаследовать свой дар и кому передать его. Сведения заносились на карточки, и собралось их постепенно великое множество. Только всё некогда было обработать этот материал. А теперь их изъяли, и они, верно, пропали.

И профессор вздохнул. Потом продолжил:

- Сколько же интересного находилось на этих кусочках картона! Какие родственные связи, семейные тайны! Неожиданные, подчас скан-

дальные объяснения, которые, пожалуй, и опубликовывать-то не стоило! Все знают, как много Пушкин унаследовал по материнской линии. Оказывается, и до сих пор у Ганнибалов не выдохлась африканская кровь, до сих пор появляются весьма своеобразные личности. А про Пушкиных, даже породнившихся с Гоголем, это не скажешь. Обыкновенные люди... Трагическая и неукротимая Софья Перовская приходилась ближайшей родней Кузьме Пруткову, т.е. была племянницей его авторов - А.К.Толстого и братьев Жемчужниковых. А Перовские - это внебрачные Разумовские, внуки и правнуки блистательного гетмана Кириллы. И никто, в конце концов, не опроверг, что княжна Тараканова - дочь Разумовского и Елизаветы Петровны. Правда, и доказать не доказал. А писатели Толстые - совсем не родня между собой, а двое из них, по совести, вовсе не Толстые. Но Лев Николаевич - племянник Александра Сергеевича Пушкина, четвероюродный, а Алексей Николаевич (нынешний), возможно, его правнук.

Интересно было следить, как одно и то же свойство характера, передавалось из поколения в поколение, в зависимости от условий, казалось то почтенным, то неуместным. Каждый шаг дарил чем-то неожиданным. Друзья, посмеиваясь, считали своим долгом сообщать мне все, что по их мнению, могло заинтересовать меня.

В числе лиц, принимавших во мне участие, были две старушки-девушки, баронессы Корф. Дамы много путешествовали, встречались с известными людьми, знали удивительное. И как-то рассказали мне, что в середине прошлого столетия в русское посольство в Париже явилась немолодая француженка. Она хлопотала о свидании с послом. А после попросила посмотреть принесенные ею старые бумаги. И пояснила, что ее родственники издавна владели замком. В начале века во время войн документы на владение им были утрачены. Этим воспользовались соседи и начали тяжбу, пытаясь присвоить себе замок. Долгий и разорительный процесс до сих пор не закончен. Похоронив отца и мать, рискуя в случае проигрыша дела остаться нищей - посетительница была незамужней и не имела родных - мадемуазель перерыла весь замок, ища каких-нибудь доказательств своих прав. И нашла старую шкатулку с ветхими бумагами. Но прочитать их нельзя - они написаны странными буквами. А если в них доказательства?! И кто-то предположил, что написано или по-гречески, или по-русски. И вот дама приехала в Париж, просить помощи в Русском посольстве. Посол как взглянул, так тут же и попросил их владелицу оставить бумаги для изучения.

Бумаги были разобраны. Они были написаны кириллицей на старинном русском языке. Содержание их было довольно однообразно: это были перечни "кормов" и "даров", посылаемых из Московского государства некоему лицу, проживающему во Франции. Но адресат именовался не более и не менее, как "Государь цевевич и Великий князь Дмитрий Иванович"!... По годам, упомянутым в документах, видно было, что писались они и при царе Федоре Иоан^новиче, и при царе Михаиле Первом из новой династии Романовых, то есть в течение тридцати-сорока лет. Сотрудники посольства искали в бумагах ответа — как очутился цевевич во Франции, кем и когда увезен из России, с какой целью — уберечь или удалить; кто опекал его на чужбине, кто помнил о нем на Родине? Но бумаги таких ответов не давали. Они были без подписи. Однако длительность переписки и ценность посылаемого говорили о значительности отправителей. Пожалуй, и о том, что переписка не могла вестись без ведома московских государей. Зато удалось установить, что цевевич женился во Франции, имел детей, скончался и похоронен там же. А с потомками Дмитрия переписываться перестали, ничего им не слали. Они офранцузились и забыли не только свое царское, но даже просто русское происхождение.

Мадем^{уз}азель, последняя цевевна из рода Грозного, принесла ворох старых бумаг в посольство страны предков, и не подозревала, какое беспокойство причинила.

Что делать с бумагами?

Как избежать огласки?

Как обойтись с посетительницей, имевшей, возможно, не меньше прав на трон Государства Российского, чем ныне здравствующий Государь Император?!

Посол принял следующее решение: сотрудники клянутся хранить безусловное молчание о происшедшем. Бумаги назад не отдаются. Владелице сообщают, что они никакого отношения к ее тяжбе не имеют, зато представляют некоторый интерес для русских, и посольство готово хорошо заплатить за них.

Дама была явно разочарована, но согласилась на продажу. Покупка была спешно отправлена в Санкт-Петербург. О французенке больше ничего не известно. Кажется, посольство хлопотало о небольшой пенсии для нее. Отец моих знакомых старушек был одним из сотрудников посольства и сам держал в руках эти бумаги...

- А где бумаги сейчас?

- Неизвестно. Может быть, уничтожены по высочайшему повелению. Не исключено, что просто затерялись.

- Вы не говорили о них, не пробовали искать сами?

- Говорил. Historики пожимали плечами. После революции, когда публиковались секретные архивы, я надеялся, что и они выплывут на свет. Но нет. Самому мне копаться в архивах не было времени. Да и кто дал бы мне разрешение? К тому же я не историк, а учитель литературы.

- А не выдумка ли это?

- Старушки говорили, что слышали рассказ отца незадолго до его кончины, когда он не расположен был шутить. Они были единственными, кому он открыл тайну.

- А не могли документы оказаться под^{де}ланными?

- Думаю, что грубая подделка была бы сразу обнаружена, а тонкая стоит слишком больших денег. И в этой истории, насколько я знаю, не было шантажа, не было навязывания бумаг. Да и чем французенка могла пугать? В крайнем случае была бы журнальная сенсация. Конечно, не совсем приятная царю. Вот и все!

- Значит, профессор, вы верите этой истории?

- Я верю достойным старушкам. Что же касается Дмитрия, то о его судьбе имеется столько противоречивых свидетельств, что данная версия ничуть не сомнительнее прочих. Конечно, до находки документов и их всестороннего изучения нельзя ничего утверждать, кроме правдоподобного варианта. И того, что с его помощью можно объяснить вещи, до сих пор не находившие достоверного объяснения. Например, опалы и казни, постигшие сначала Богдана Бельского, которого Грозный назначил опекуном царевича, а затем - семью Романовых, наиболее близкую к Грозному. Официальные обвинения выглядели столь вздорно, что им не верили современники. Не верили и историки. А причина могла заключаться именно в сокрытии царевича, подмене его, слухи о чем очень рано просочились в народ, и что, конечно, мог подозревать, но не мог доказать Годунов. Из темного прошлого Отрепьева известно, что до бегства в Литву он был близок к Александру Никитичу Романову, главному обвиняемому по загадочному "делу". Нельзя ли допустить в виде очень смелого предположения - то Отрепьев сумел проникнуть в тайну, известную Романовым. Или были ими посвящен в нее. Даже послан к царевичу во Францию. А на дальнейшем пути, находясь в Польше, узнал о

гибели посланных и решил, использовать обстоятельства в собственных интересах. Отсюда у самозванца и драгоценный крест, которым он доказывал свое "царское" происхождение, и его нежелание подробно рассказывать обстоятельства своего "спасения", называть имена. И щедрость к уцелевшим Романовым... Принимая эту версию, можно понять поведение вдовы Грозного - царицы Марии Нагой, ставшей инокиней Марфой. Известно, что она неоднократно высказывала противоположное утверждение о судьбе сына, считая его то убитым, то живым, признавая и отвергая Самозванца.

Существует рассказ современника, пронрливого галландца, жившего в Москве, что, не зная, чем остановить армию Самозванца, Годунов велел привести в Москву мать Дмитрия. Царица содержалась в строгом заточении в дальнем монастыре. Ее доставили во дворец ночью и поставили перед Борисом и его женой - дочерью палача Малюты Скуратова. "Где твой сын"? -спросил царь. "Не знаю" - ответила Марфа. "Тварь! Как ты смеешь говорить "не знаю", когда знаешь!" - закричала новая царица и ткнула зажженной свечей в глаза старой. Борис отвел руку жены. Тогда Марфа произнесла: "Мне сказали, что сын мой, без моего ведома, увезен в заморские земли. А люди эти померли. Жив он или нет - не знаю!" Царицу Марфу снова отправили в монастырь.

Конечно, не зная в лицо ни сына, ни Отрепьева, мать могла поверить Самозванцу и признать его за свое чадо. А обнаружив обман, отреклась от него в его последний час, хотя одним словом могла спасти Григорию жизнь и обеспечить себе почетную старость. Отрекаясь же от него, снова превращалась в опальную старуху...

После гибели первого и второго самозванцев имя Дмитрия оказалось настолько опороченным, что безрассудно было бы пытаться вновь воскресить его. И настоящий Дмитрий Иоанович был вынужден - или предпочел - остаться до конца дней на чужбине, т.е. в стране, где он вырос...

Если вам кажется странным, что русский царевич стал родоначальником французских дворян - не удивляйтесь! Французский посол в России в 1914 году Морис Палеолог был потомком византийских императоров. Математик Софья Ковалевская, в девичестве Корвин-Круковская, - потомком венгерского короля Матвея Корвина. Помещики Дурасовы происходили от Сицилийских королей, имели право на титул герцогов Дурацких (через два "ц"!) и считались родней Бурбонов и т.д. Почти все наши старинные роды берут начало от пришлых королей, князей, ханов. Очевидно, и беглые российские князья и

быстрее исполнили своими потомками дворянские книги Европы. К примеру — немецкие бароны Фон-Барановы...

И профессор, лежа под нарами, прочитал мне блестящую лекцию о бурном XVII веке, о дебрях забытой науки — генеалогии. Он говорил, говорил, и картины, нарисованные им, заслонили темное пространство, а вызванные из небытия люди вытеснили лежащих рядом моих невольных товарищей. Я задумался. Перестал слушать, слышать... Необычные мысли, клинув, разрушили стену, что я воздвиг вокруг собственных, казавшихся мне такими исключительными, преживаний. Возникли какие-то смутные аналогии. Почувствовались нити, протянувшиеся между людьми сквозь десятки и сотни лет и связывающие их в один ряд людской... Показалось очень важным узнать, понять для себя, что чувствовал заброшенный царевич, у которого отняли не только отчину, но и имя?! Бился ли он в бессильной ярости? Плакал ли ненужными слезами? Знал ли, наконец, что на далекой, непонятной родине один звук "Дмитрий" поднимает к торжеству и гибель тысяч людей, свергает царей и рушит каменные твердыни. Не что к нему — подлинному Дмитрию — все это не имеет ни малейшего отношения?!

Или все было заслонено от него нехитрыми житейскими радостями?...

И что такое Родина?!

И что такое имя?!

И что такое история?!

И что такое правда?!

Почему-то стало жаль старенького учебника с картинками, где все было так старательно и категорично разъяснено. Стало жаль Пушкина, Мусоргского, Нестерова. Их героев — благолених даже в страдании, величавых даже в преступлении. Огорчала догадка, что на самом деле все происходило вовсе не так. Обыденнее. Неказивее. Хуже. Стало не по себе, будто я потерял что-то, будто из теплого закуртка выбрался на неуютный перекресток...

Моя любимца история! А что, если на страницах твоих будет вековать и та мелочица, что досталась на нашу долю?!

И я содрогнулся...

Профессор почувствовал мое смущение и, догадываясь о моих мыслях, сказал: "Не надо так волноваться, внуша! Ведь все остается не-прежнему! Заменяли один кирпичик другим — никто этого и не заметил! Было и убийство младенца в Угличе, и гибель Годуно-

вых, и самозванцы, и поляки... А если, в конечно счете, на почетном месте в Архангельском соборе лежат косточки не царевича, а попovichа, то что меняется?! Не все ли равно, чей ребенок убит? Важно, что ребенок убит! Кого интересует истинная судьба, сущность человека? Его близких. Но не историю. История имеет дело с обличьем, но раз притом переоблачая своих героев из светлых риз в темные лохмотья и наоборот...

Мы с вами тоже стали объектами истории. Что знают, что будут знать о нас — таких обыкновенных, таких разных, по-своему страдавших и думавших каждый по-своему, людях? Все, что поняли мы — канет вместе с нами. А останется один ярлык... Обидно, конечно!... Ну, спать, коллега, спать!...

И профессор, повернувшись набок, уснул...

Я же не мог заснуть. Растревоженно гудели мысли... И вдруг остро и малодушно захотелось не быть "объектом истории", не носить ярлык ни злодея, ни мученика, а просто спать на обыкновенной постели дома, а не на земляном полу под нарами за тридевять земель от всего, что любишь!...

А над нашей дырявой крышей все яростней шумел ветер. Скрипели деревья, предвещая непогоду. На дневку из-за тесноты нечего было рассчитывать, и завтра придется идти. Надо заснуть...

И я уснул...

Но и во сне не покидала тревога. Снились огни, крики, погоня. И заплаканное лицо моей девочки-жены в кокошнике царицы Марьи... А потом привиделось несуразное: груды кирпичей. Кто-то швыряет их и грубо орет: "А при чем тут кирпичи?! Жалко их, что ли?! Вот их тут сколько валяется!"

— Кончай валяться — кричал староста и колотил палкой по нарам. Все засуетились.

Погода действительно стала плохой. Снег сменялся дождем. Ветер мотал серые облака, и клочья их цеплялись за верхушку сосен. Дорога раскисла.

Завернулись, кто во что, и зашагали. Ни говорить, ни думать не хотелось.

На половине перехода повстречали грузовик с охраной. Нас остановили, отобрали стариков и ослабевших и умчались вперед.

Попрошаться не успели. Взяли и профессора.

Ни на станке, ни в конце пути увезенных не оказалось. Больше я о профессоре и не слышал.

А мне предстояла еще долгая, трудная дорога...

П У Р Г А

Когда этап отошел от железнодорожной станции и пересекал двухкилометровый пустырь перед городом, его накрыла пурга. Пришлось пробиваться через нее, как сквозь чашу.

Впереди медленно-медленно шли два стрелка с фонарями, непрерывно выкликая: "Прочь с дороги! По сторонам!"

Сноп света упирался в крутившуюся массу и, не выхватывая ничего определенного, расплывался мутным пятном. Звук голоса рвался в клочья и уносился в сторону, и от слов оставалось невнятное "... оги! ... нам!"

Вплотную за кричащими, пятясь задом, шла шеренга с автоматами наизготовку. По краям дороги цепочкой двигались вперемешку автоматчики и поводыри собак. Сзади колонны, опять шагала шеренга автоматчиков. Все замыкали псары, державшие на туго натянутых поводках тяжело дышавших, облепленных снегом, рвущихся вперед собак. Внутри упаковки из вооруженных людей находились этапируемые.

Пурга набрасывалась спереди, с боков, сзади, даже снизу. Била колючим по лицу. Пробиралась снежной пылью за ворот, в рукава, за пазуху, в каждую прореху, обжигая голое тело. Слепила... Ноги то вязли, то скользили на полированном месте. Впереди идущие останавливались, упершись в высокий предмет, и соображали, форсировать ли его по пояс в снег, или обождать? А потом — обойти? Нарушился предписанный порядок — этапируемым двигаться молча, соблюдая строй, заведя руки за спину. Пурга сбивала их в неорганизованную толпу, вынудила вытаскивать, поддерживать, нести друг друга, ругаясь, умоляя, плача... Конвоиры не могли выдерживать узаконенное расстояние, придвинулись к узникам, подталкивали и поддерживали их и зорко следили, чтобы кто упавший не был втоптан в рыхлое месиво.

Конвоирам доставалось, но они были сытно накормлены и доброт-но экипированы. А голодная, по-всякому одетая человечина в середине дошла до того, что мечтали о месте наказания — зоне — как о родном, недостижимом доме, и видела в яростно ругавшихся, подталкивающих и грозящих оружием и собаками вохровцах надежных парней, единственно способных вывести из этого крошечного ада.

Когда зародился отблеск какого-то света, обозначился пятном, протянулся цепочкой фонарей, закричали: "Разберись! Разберись!", даже самые поникшие воспрянули. Восстановившая стройность колонна прошла по малолюдной улице и остановилась у закрытых ворот, сбоку

которых был маленький домик — вахта. Начальник конвоя, рванув дверь, вошел внутрь...

Этапники, построенные рядами, застыли перед воротами в ожидании их скрипа. А метель обвивала, закутывала, лепила из них большой сугроб. Кругом же стояли другие убеленные фигуры, похожие на несмешных снеговиков-людей и снеговиков-собак. Все смотрели на ворота.

Ворота не раскрывались. Вышла заминка...

Зона не была готова к приему прибывшего контингента. Инструкций, полученная на днях, наистрожайше указывала, что надлежит обеспечить полную изоляцию поступающих от находящихся в лагере заключенных. В дальнейшем разместить новичков в пунктах специального режима, а пока разрешается отвести для них бараки в существующей зоне, оградив внутренней зоной, навеслив решетки на окнах, снабдив двери наружными засовами, и пр., и пр.

Работы во исполнение инструкции производились, но не были закончены. Поэтому охрана командантского лагерного пункта — КОЛШ'а, — расположенного в непосредственной близости от управления Воркутского лагеря, не имела права принять этап от конвоиров и впустить людей в зону.

А этап прибыл издалека. С территорий, освобожденных от немцев. В нем были осужденные по новому закону на каторжные работы. И все этого слова, этого этапа боялись... с непривычки.

Прибыли женщины.

Пока разомлевший от знойной печки командир конвоя, зная всю силу инструкций, лениво и формально переругивался с начальником охраны ОЛШ'а и курил одну самокрутку за другой, холод начал пробирать стоявших на улице. Тело, разогретое трудным маршем, остывало. Надо было шевелиться и, несмотря на грозные окрики, то одна, то другая каторжница начинала топтать, размахивать, прихлопывать руками. Молча. Наконец, вся колонна пустилась в мрачный пляс, и сбивалась все плотней, и тесней прижималась к полотнищам ворот, подставляя пурге согнутые спины...

А стрелки, кричавшие порядка ради, неподвижно стояли на своих местах, накрепко сцепив подконвойных и держа одну руку на спуске автомата, а другой поглаживая и похлопывая разлохмаченных от набившегося в шерсть снега собак...

А пурга не стихала.

— А-а-а-! — все перекрыл горячий вопль. Куча дрогнула.

Кто-то шарахнулся. Из колонны метнулась и упало что-то орущее — "А-а-а!"

– Встать, стрелять буду!

Общий гвалт. Треск предупредительного выстрела. Из вахты выскочили. Впереди – командир конвоя.

– Почему нарушение?!

– Гражданин-начальник, гражданин-начальник, женщина рожает!

– А, чтоб тебя... Шлюха немецкая!...

И начальник, мотнув головой, опять рванулся на вахту.

– Понимаешь, там одна потаскуха рожать вздумала! Убери ты ее куда-нибудь, ради дьявола! Подохнет ведь у ворот. Опять же и крики. Народ ходит, шумок получается!...

– Ну куда я ее возьму?! Скажешь тоже! Положение не знаешь?! Нет, – из-за падлы петлю одевать не намерен! Пусть начальство думает!

Начались звонки.

Штаб вооруженной охраны ответил, что такие вопросы решает помощник начальника лагеря по режиму.

Помначлагеря сказал, что в инструкциях никаких исключений не предусмотрено. Если оперотдел даст санкцию, то и он согласен.

Оперативный отдел возразил, что дело не его компетенции, и он соваться в него не намерен. Начальник лагеря сам в праве принять любое решение.

Начлаг рассердился:

– У меня график отгрузки угля из-за пурги к черту летит, а вы с бабой! Пусть санотдел с вами разбирается!

Санотдел разобраться не мог, так как роженица не состояла в списочном составе лагеря, а числилась за конвоем, а принять ее от конвоя нельзя было, и т.д.

И колесо ~~вертелось~~...

И все, кого оно задевало, делались злыми. Ощущали какую-то неловкость. Черт принес этот этап! Угораздило бабу ни раньше, ни позже!

А роженица то ползала на четвереньках, то опрокидывалась и билась спиной о снег. Она уже не замечала холода, пурги, раскрылась, намочила вся, искусала губы в кровь и выла сорванным голосом.

С вахты бросили два старых тулупа, и одноэтапницы мастерили из них какое-то укрытие. Они то уговаривали товарку, то голосили вместе с ней. Проклинали сволочей, которые назывались начальством. Просили "уж убить разом!" Западницы – украинки и белоруски – молились...

А пурга продолжалась...

На вахте топтались врачи и сестры олповского стационара, притащившие с собой носилки. Они требовали, просили хотя бы подпустить к больной!

- Нельзя, стрелять буду!

Через вахту проходили люди - вольнонаемные и заключенные, по пропускам - и в городе происшествие уже широко обсуждалось. А в зоне еще стучали топоры. А начальство еще препиралось. И казалось, могут быть два выхода: или доведут до Москвы, или составят акт...

- Ах, паразиты! Как бабу обнять, так все инструкции обойдете, а тут женщина в снегу рожает, а они причины находят! Спины от теплой печки отлепить не могут!... - В дверь с криком ворвалась начальница комендантского лагеря Чубарова - Чубариха, как мы ее звали, первая на Воркуту матерщинница, ядреная сорокалетняя красавица-баба. Она спозаранку была где-то на дальней базе, что-то выцарапывала для своих заключенных, торговалась и люто ругалась со снабженцами. Как узнала, так и прискакала.

Охрана и конвой, услышав ее ругань, повела повеселевшими глазами, а она продолжала орать:

- Самих бы для смеху рожать заставить! Что вы, кобели, понимать можете?! А я троих родила! А, ну прочь от телефона!...

За несколько минут Чубарова обзвонила все начальство, обложила, не считаясь с чинами, и заявила, что распорядится сама, пусть только не мешают, все берет на себя, вызвала на вахту адмхозчасть и строителей. Медики вообще с вахты не уходили, несмотря на ругань. В высоких инстанциях сразу отлегло от сердца, баба горячая, но битая, сообразит нормально.

Выяснилось, что в зоне, недалеко от вахты, есть пустой барак. В нем ремонт. Ремонт можно отставить. Печь затопить. Угол прибрать. Поставить двух конвоиров из прибывших. Тогда можно поместить там больную - тепло, и надежно изолировано. И пустить врача с санитаркой под персональную ответственность начальницы ОЛШ'а Охрана лагеря остается в стороне, все вышестоящие - тоже.

Так и сделали. Сдвинули лотки, бочки с известью. Соорудили топчан. Снабдили ведром, тазами, кипятком, прочей снастью. Конвоиры на тулупе внесли роженицу. Стали у изголовья...

Через два часа басом орал мальчишка.

- Во дает, фриц! - сказал один из стрелков и неожиданно улыбнулся.

- Давить надо гадов, а не чикаться! - сказал другой и сплюнул. Еще через два часа роженицу на носилках перенести в уже готовое спецпомещение, куда негнушимися ногами приплелись, наконец, и остальные принятые охраной зоны каторжанки.

Новорожденного унесла Чубариха, и его усыновили какие-то бездетные вольнонаемные.

Пурга дула еще три дня.

З А Щ И Т Н И К

За день до суда меня из ^а камеры провели в кабинет, где обычно допрашивали. Но вместо следователя за столом сидел пожилой, усталый и, как мне показалось, несколько брезгливый человек. Он встал, протянул руку, которую я неуверенно пожал, и сказал:

- Ребинович, ваш защитник.

Потом посмотрел на дверь, в которую вышел конвоир, и добавил:

- Можете быть со мной вполне откровенны.

Несколько дней назад, при свидании, жена сказала, что собирается нанять защитника. Я возразил, что бесполезно, деньги и так ей нужны. Жена не спорила, но я знал, что она поступит по-своему, и беспокойно думал, что защитник будет говорить и чего ~~он~~ может достигнуть.

А пожилой человек усадил меня на стул, сам сел рядом и вполголоса сказал:

- Ваши показания ужасны. Вы действительно виновны в том, что подписали?

Мне стало нехорошо. Свело челюсти, и появилась знакомая неуемная мелкая дрожь. За полгода я привык не доверять никому. Мне казалось, что все - следователи, надзиратели, соседи по камере, даже стены, двери и окна - ловят каждое мое слово, каждое движение, чтобы переиначить, исказить его и доказать, что я виновен, виновен, виновен...

Полгода, день и ночь, бранью, притворным сочувствием, угрозами, свиданиями, лишениями передач, бессонными ночами, Дурной пищей, решеткой на окне, молчанием одиночки, ночным лязганьем ключа в двери, нацарапанными на стенах предсмертными воплями моих предшественников - ломали мой разум, мою волю. А главное - мне недвусмысленно дали понять, что моя строптивость может привести в эти стены моих близких...

Если бы меня охватили за убеждения, я мог бы пострадать за них или отречься. И тюрьма была бы понятна.

Если бы я совершил преступление, я мог бы изворачиваться или не просить пощады. Опять было бы все понятно.

Но меня обвиняли в том, что и во сне не снилось. Все, что я пережил с того вкрадчивого ночного стука в комнату до настоящей минуты, - было непонятным, было бессмысленным. И я своим надломленным рассудком, чтобы как-то выжить, искал в этой бессмыслице смысл.

Может быть, смысл в том, чтобы, не докапывая до смысла,

терпеливо принять все, что уготовано?

Может быть, я думал не так, говорил не то, смеялся не над тем, не походил на рекомендованный образец и тем самым приносил чему-то вред? И кому-то есть смысл изолировать меня?

Может быть, я был слеп? Не видел, что творилось вокруг меня, и невольно был замешан в то чудовищное, о чем говорил следователь? Он же мне показывал и подписи уважаемых мною людей, подтверждавшие его слова?!

Не с кем было поделиться. Мысли рождались, толкались, кипели во мне и душили. Жене при свидании через решетку я мог кричать только ласковые бессвязанные слова. Соседи по камере — если были, то так же побаивались меня, как и я их. Лишь один человек подолгу и охотно себедовал со мной, но и тот был следователь. Мне было неприятно его рябое лицо, глубоко спрятанные глаза, и непонятные слова. Но потом я с удивлением обнаружил, что привык к нему! И стало казаться, что он не желает мне зла. Лично он — лично мне. Я попытался по-человечески рассказать все, что волнует меня, но это было ему неинтересно и ненужно. Он, как терпеливый учитель или режиссер, попытался вдолбить в меня мою роль, а я был туп и часто не понимал, чего он хочет. И если я отходил от заданного, он сердился, кричал, грозился...

Кончилось тем, что я макал перо в чернило и выводил свою подпись внизу каждой страницы, которую он исписывал, сам задавая вопросы и сам отвечая. И эти подписи казались мне петлями, все ту же связывающими меня, и я все больше цепенел и переставал думать.

Когда, после окончания следствия, меня вызвали ознакомиться с делом, я равнодушно перелистал его и вывел: "ознакомлен".

И вот теперь совершенно незнакомый человек в до ужаса знакомой комнате тихо спрашивает меня, правда ли то, что я подписал?!

Разве он не верит?

Разве кто-нибудь имеет право не верить?

Причем тут правда? Разве не сильнее правды то, что утверждено столь всемогущими лицами и заверено моей собственной подписью?

Я полагал, что защитник, прочитав дело, будет говорить о моей молодости, неопытности, чистосердечном признании и прочих вещах, о чем говорят защитники, когда им нечего говорить. А он — "виновны ли вы?!"

Я привык отвечать — "виновен".

Этот человек мне незнаком. Может быть, он подослан, чтобы испытать меня. Может быть, если я отрекусь от подписанного и

скажу, что все - ложь, тогда все начнется сначала? Нет уж, лучше конец!

И я ответил защитнику: "Да, конечно, виновен!"

Он отодвинулся от меня, и лицо его омрачилось. Оно стало еще более брезгливо. Он встал. Встал и я. Он еще раз изучающе посмотрел на меня. Я отвел глаза. Потом он холодно произнес:

- Если бы вы сказали мне, что на самом деле не виновны, я стал бы вместе с вами решать, как защищаться. Но если вы действительно виновны - говорить не о чем. Все, что написано, я помню. Моей задачей будет только спасти вашу голову - в деле написано достаточно для пяти расстрелов. Прощайте!

Он обошел стол и нажал кнопку. Вошел конвоир. Я шагнул к двери и обернулся. Защитник смотрел на меня непонятым взглядом. Мне захотелось броситься к нему, но он отвернулся к окну. Я вышел.

Мной овладела злоба. Защитник показался мне самым ненавистным из людей, хуже следователя. Как он жесток! Какую пользу он может принести мне, когда даже не пожелал говорить со мной, поддержать, ободрить?! Вместо этого он вслух сказал слово, которое я боялся произнести. Он ткнул в самое больное место!

Ночью я не спал. У моего изголовья боролись двое - не знаю, как они назывались - надежда и отчаяние, как совесть и лукавство. или жажда и оупение. Они так беспорядочно сменяли друг друга, что я не мог разобрать, кто из них друг мне, кто враг. Истоптали, изранили - и под утро ушли. Проснувшись, я не мог понять, кто одолел.

А утром повезли на суд. В подвале я отчужденно посмотрел на моих бывших сослуживцев, нынешних товарищей по несчастью, и поразился, как они изменились, пострашнели за полгода! Всего несколько слов, и отчуждение прошло. Я понял, что переживали, думали и поступали они так же, как и я. Разговориться не дали - повели наверх. Но нарыв во мне лопнул, стало легче.

Когда, после обвинительного заключения, судья спросил меня: "Признаете ли вы себя виновным?" - я так же, как и другие, произнес, твердо глядя ему в лицо: "Не признаю!". Остальное уже не имело значения.

Я не обижался, уже и не огорчался, когда защитник на суде несколько раз колот меня резкими словами, хотя и корчился от них. Я все больше понимал его и был благодарен.

Благодарен ему и сейчас...

Н О В Е Н Ь К И Й

Привели в камеру новенького. Ну, не совсем новенького — те чистенькие, гладенькие, сытенькие, лишь без сна опухшие да глаза ненормальные. Неловко им: штаны без ремня и пуговец, за ширинку держать приходится, башмаки без шнурков чавкают. И мы кажемся страшными — арестанты, преступники, могут убить, последнее отнять, или в какое дело замешают, что не расхлебашь!

— Садись, браток, в ногах правды нет!

— Спасибо, что вы, я постою, меня сейчас вызвать должны!

— Ну стой, стой.

И жалость берет: сколько ему, суслику, перетерпеть придется, пока невинности лишать будут! Пока до мозгов дойдет, что к чему прикладывается.

И досадно: ходят еще такие непонимающие, вчера на собрании голосовал, чтобы тебя — по полной мере!

И завидно отчасти: ты тут парился, а он на воле был, с женой прохлаждался, за город на травку ездил!

... Тут, что сейчас привезли, — не такой. Серый, щетина, ссадины. Глаза — мы трепаться бросили, на них глядя. Молчим, и он молчит, и будто не нас видит.

А потом сделал несколько трудных шагов — и как выпалил:

— Я — Колмаков!

Не поняли.

Он как рухнет, да закричит:

— Я — Колмаков! Председатель Спецколлегии! Убейте меня! Сколько на мне!...

И завыл.

Поняли. Про него слава шла. Другие с пяти, с шести лет паять начинали, а этот меньше восьми никому не давал! Мечтали не попасть.

Подняли. На койку усадили. Воды дали. Все молча. А он — зубы стучат, воду расплескивает, и говорит:

— Ведь я верил, верил! Не сомневался! Нас в Москву собирали, занятия проводили. Сам Ежов. Разъяснял: враг хитрит, новую тактику избрал — на органы клеветать. Обязательно на суде будет доказывать, что били, всякие меры принимали! Не поддавайтесь провокации. Пресекайте! Это особо опасный элемент!

И я пресекал...

А теперь?!

... Подобных мы обычно под юрцы загоняли. Иногда их били. Бывало, что и убивали.

Этого не тронули.

О Ч К И

Чудесная вещь очки! Наденешь — и все становится на свое место, приобретает понятное очертание. Сувствуешь себя уверенным...

Вчера я пережил крохотную трагедию — разбил очки. Наклонился, очки выскользнули из кармана — и клинк! — вдребезги. Как мне жаль вас, очки...

Тридцать лет, как ношу очки. Были всякие — слабые и сильные, удобные и неудобные, свои и чужие. Они или разбились, или украдены, потеряны, утонули, выпали из окна вагона, выброшены. Нравились лишь ~~же~~ по-настоящему лишь две пары — первая и та, что разбилась нынче.

Мне не было еще и двадцати лет. Я стал самостоятельным. Переехал в чужой город. Очень хотел выглядеть вполне взрослым, но лицо оставалось ребяческим. Что делать? И я понадеялся на очки, вернее пенсне, как у Чехова. Складки у переносицы и поблескивание стекол должны дать выражение вдумчивости, строгости, с оттенком принципиальности. К тому же я был немного близорук. С большим трудом нашел я подходящую для своего носа пружинку. Стекла заказал не овальные — как у всех, а продолговатые. Получалось неудобно — пружинка саднила, пенсне соскальзывало, поле зрения было узким. Но я нравился себе в этом украшении, казался серьезным и не один раз на дню задерживался у зеркала...

Последние очки были легкими, без оправы, с тонкой золотой дужкой. Сказали, что в них я моложе. И я опять почему-то ловил себя у зеркала...

Не скажу, что и другие очки были мне безразличны. Потеря некоторых причиняла горькое горе. Однажды невольные попутчики освободили меня от одежды, обуви, и принесенной из дома пищи, кинув взамен рвань и кусок пайки. Пришлось смириться. Но когда пропали и очки, — я заплакал. Мне показалось, что потеряв очки, я лишусь частицы своего "я", окончательно сольюсь с массой отвратительных для меня людей, утрачу последнюю надежду на сносную работу, терпимое существование. Я вымолял очки обратно... Что ж, мои надежды на очки имели долю основательности...

А вообще не дай бог слепому потерять очки! Ведь ищешь-то их без очков! Потерял как-то. Мыкался по всей комнате, шарил руками, раздражался, винил кого-то, а они у были не то ^{что} рядом, а просто на моем лбу! Совсем как в прелестных стихах Юлиана Тувима.

Трудно искать очки без очков. Трудно и нелепо. Так же, как искать у людей отзывчивости, справедливости, любви, не вооружившись самому этими качествами! Сколько раз я огорчился и обвинял, а причина была близка, причина была во мне...

В нашей зоне была жалкая грязная проститутка, без возраста, тупая. И своя же братия ее за человека не считала. Как-то умер старик, совсем одинокий. Его должны были похоронить по-лагерному, как всех: белье третьего срока, бирка на ноге, и в яму. И никого это не трогало. А эта несчастная где-то достает новое, первого срока, белье, омывает мертвеца, заказывает плотнику гроб, украшает полевыми цветами и целую ночь сидит над покойником. А всего-то однажды он поступил - поговорил с ней по-человечески, увидел в ней такую же, как и в себе душу...

Говорят: "смотреть сквозь очки" - розовые там, или темные. И полагают, что смотреть сквозь очки - какое-то необычное восприятие. Обычное! Все мы носим очки воспитания, привычки, влечения, здоровья - ведь зубная боль способна заглушить симфонию Чайковского! - убеждений, принятых мнений. С очками проще. Все укладывается в понятные осязаемые формы, не надо шарить, мучительно, самостоятельно искать. Если бы очки выходили всегда из рук умелых, добрых, совестливых! Но в кривые очки мы бываем подчас безмерно влюблены, как прапрабабушка в свое зеркало, из рассказа Чехова. Мы видим сквозь них то, что так хотим видеть! Увы, очки хрупки...

Был у человека друг, и человек верил другу больше, чем самому себе... Со своими слабостями мирился, но друг был выше слабостей! В наигорчайшее время только друг поддержал горемыку, и тот возвел смертного на высочайший пьедестал. Во тьме разлуки все ярче и ярче пламенел нимб, которым один человек увенчал другого... Но вот, просто и обыденно, человек узнает, что друг - не икона, а такой же, как все, как он сам... Мир рушился.

А мир не менялся, - разбились очки!

Люди! Вы не можете обходиться без очков! Так уж поосторожнее выбирайте их. И если вам покажется, что произошло что-то непоправимое, постарайтесь проверить, не разбились ли это, всего-навсего очки? И если это так, вам станет легче. Вчера и у меня разбились очки.

Только обыкновенные. Стекланные.

П О С Л Е С Л О В И Е

Серафим Ильиз Четверухин (22 апреля 1911 – 8 декабря 1983) родился в Троице-Сергиевом посаде в семье священника из дворян. Мать – родовитая дворянка французского происхождения. К моменту революции семья жила в Москве. Отец автора, Илья Николаевич Четверухин, служил в Замоскворечье в Николо-Толмачевском храме, ныне находящимся на территории Третьяковской галереи. Детство и юность С.И. подробно описаны в мемуарах "Радостная и грустная моя юность" (Толмачи)", опубликованных недавно сначала в московском журнале "Выбор", а затем в Париже в журнале "Русское слово".

Судьба родственников и самого автора сложилась трагически. В 1918 году за отказ от участия в создании Красной Армии был расстрелян дядя С.И. по матери – Петр Леонидович Грандмезон. П.Л. ушел добровольно (хотя и был "белобилетником") на Первую Мировую войну рядовым, принимал участие в Брусилловском прорыве, награжден Георгиевским Крестом и золотым оружием, тяжело ранен и против его воли произведен в офицеры. Вернувшись вторично раненым в 1918 году в Москву, абсолютно разуверился в необходимости продолжения войны, тем более, в превращении империалистической войны в братоубийственную гражданскую.

В двадцатые годы дважды арестовывали за слишком большую популярность среди прихожан отца С.И. – Илью Николаевича, настоятеля Николо-Толмачевского храма. После выхода знаменитого указа 1929 года, жестко регламентировавшего деятельность священства, Н.И. продолжал по-прежнему навещать своих прихожан, отправлять требы на дому, не делая из этого секрета и открыто игнорируя указ. Несчастный случай с его прихожанкой, описанный в рассказе Серафима Ильича "Мария Ивановна" (публикуется в журнале "Выбор"), ускорил трагическую развязку: в 1929 году храм был закрыт и разгромлен, а в 1930-м в последний раз был арестован И.Н. и вскоре осужден за "контрреволюционную агитацию и подготовку к восстанию". В 1932 году он в числе примерно двухсот человек был заживо сожжен во время воскресного "культурно-воспитательного мероприятия" в лагерном клубе в поселке Красная Вишера (Пермские лагеря), о чем сохранились свидетельства очевидцев.

Мать С.И. – Евгения Леонидовна Четверухина (урожденная Грандмезон) – после ареста мужа осталась с четырьмя детьми почти без средств к существованию, но продолжала служить регентом в одном из храмов Замоскворечья вплоть до середины 60-х годов.

Вместе со своей верной подругой Еленой Семеновной Мень она сумела объединить вокруг себя духовных детей Ильи Николаевича и других верующих, а также поднять на ноги детей. Это сплоченная община просуществовала фактически до начала 70-х годов, причем ее состав постоянно омолаживался.

До ареста и гибели отца Серафим Ильич испытал на себе все тяготы жизни социального изгоя. Ему с трудом дали закончить школу и абсолютно закрыли дорогу к высшему гуманитарному образованию, получить которое он так стремился. В 1932 году в поисках работы и опасаясь дальнейших репрессий, С.И. переехал в Ленинград и устроился на картфабрику (бывш.Ильина) на реке Пряжке. В 1934 году он женился на дочери известного ботаника - флориста Ю.Н.Воронова, тогда уже покойного, - Ирине.

В том же году С.И. вызвали в "Большой Дом" и предложили стать осведомителем. Он отказался. Тогда ему "напомнили" о московской родне и о происхождении, которого С.И. никогда и не скрывал. Пообещали, что "годика два он, возможно, еще погуляет". Свое обещание выполнили, притом весьма пунктуально: 9 мая 1936 года С.И. был арестован. Угрозами в адрес родных, насилием и издевательствами его вынудили признаться, "во вредительстве и контрреволюционной агитации". По делу "о вредительстве" на картфабрике прошло более 80 человек: сроки от двух до десяти лет, некоторых в 1936 году оправдали, но забрали в 1937 году при повторном рассмотрении дела. С.И. был осужден по ст.58, п.п.6 и 10: шесть лет ИТЛ. 1936-й год С.И. провел в системе Свирских лагерей. После пересмотра дела в 1937 г. статья и срок были подтверждены. С.И. отправили в Печорские лагеря. От Котласа пешком и на барже "прошел" он почти всю Печору и Усу и в 1940-м оказался на Воркуте.

Приобретенная еще во время следствия инвалидность, а также полное физическое истощение спасли С.И. от общих работ. Но на краю гибели он оказывался неоднократно. Например, в 1939 году с него сняли инвалидность и погнали на общие работы, но его спас Н.И.Зубчанинов, тоже политзаключенный, который временно исполнял обязанности начальника одного из лагпунктов. Это назначение было связано с тем, что во время одного из многочисленных восстаний в Печерских лагерях расстреляли не только восставших и не принявших участие в восстании заключенных, но и почти весь "обслуживающий персонал" вплоть до начальника лагеря. С.И., отсидев до войны и, вторично, после войны, сумел в промежутке между сидками защитить кандидатскую диссертацию по экономике, а потом, уже в конце

50-х, после Карагандинского лагеря - докторскую). (Поскольку здесь мы коснулись восстания заключенных на Воркуте, следует упомянуть и о последнем крупном восстании, которое, по воспоминаниям очевидцев, имело место западнее города в 1948 году. Тогда восстали бывшие солдаты Великой Отечественной войны, заподозренные СМЕРШ'ем в связях с врагом. Сроки были, в основном, 25 лет строгого режима. Отсутствие всякой надежды на освобождение и боль от несправедливости подняли этих людей на открытую и безнадежную борьбу. Несколько дней Воркута была на осадном положении. Все "чистые" вольнонаемные, кто мог носить оружие, были мобилизованы. Из Москвы были запрошены авиадесантные части. Через неделю после начала восстание было подавлено, а именно - расстреляно с самолетов штурмовой авиации. Судьба немногих, оставшихся в живых, была предрешена. Еще в 60-х годах западнее Воркуты белели кости).

Уже на Воркуте перед самой войной С.И. вновь чудом избег смертельной опасности. В 1940 году на Воркуту прибыла комиссия из Москвы, в задачу которой входило "выявить и уничтожить лиц, продолжающих в условиях заключения заниматься контрреволюционной деятельностью". Это произошло вскоре после "воссоединения" западных областей Украины и Белоруссии и прибалтийских республик. Обобщенное внимание комиссии было приковано к репрессированным из этих областей, но уничтожению подверглись и другие политзаключенные. Планировалось уничтожить около 30 тысяч "вредителей". Комиссия свою работу провела, дело С.И. сочли "пустяковым". Когда комиссия выехала из Воркуты и доехала до Усть-Усы (по другим сведениям - Чибью), она была встречена другой комиссией из Москвы, объявлена контрреволюционной и наскоро расстреляна. Все бумаги и списки расстрелянных заключенных, прах которых покоится в окрестностях Воркуты в карьере "старого кирпичного завода", были уничтожены. (По свидетельству очевидцев, трупам расстрелянных разбивали кувалдой голову, чтобы их невозможно было бы опознать при эксгумации). Эта вторая комиссия, впрочем, через несколько недель была тоже расстреляна не то в Котласе, не то около Котласа встречной комиссией из Москвы, признавшей и ее действия контрреволюционными.

На Воркуте С.И. уже работал чертежником, руководил отделом картографии в Топографической конторе. В 1943 году за составление первой подробной сводной карты Печерского угольного бассейна был досрочно выпущен на спецпоселение особым указом. В 1945 году к С.И. перевелась его жена, к тому времени прошедшая высылку и

лагерь, тоже спецпоселенка - из Свердловской области: после суда над мужем она отказалась от него отречься и прошла тяжелый путь "члена семьи врага народа". В 1946 году родился их единственный сын - Александр.

В 1957 году С.И. и его соделельники после неоднократных ходатайств в Верховный Суд РСФСР были, наконец, реабилитированы, в большинстве - посмертно. Вместе со справкой о реабилитации С.И. возвратили профсоюзный билет и пропуск в столовую ИТР на 1936 год. Все же изъяты у него при обыске книги и исторические документы, которые начал собирать еще отец С.И., были "уничтожены как не относящиеся к делу" (в частности - царские указы, об изъятии которых у С.И. упоминает А.И.Солженицын в главе "Арест" Архипелага ГУЛАГ").

С 1961 по 1983 год С.И. жил в Ленинграде и вплоть до ухода на пенсию работал главным технологом во Всесоюзном геологическом институте.

Литературным трудом С.И. начал заниматься еще во время войны, сразу после выхода на спецпоселение. Тогда были написаны некоторые стихи, часть которых опубликована в воркутинской газете "Шахтерская правда", и повесть "Гаяль". Писал С.И. и в пятидесятые годы, но основной период его творчества приходится на 60-е - 70-е годы. Своим первым серьезным произведением С.И. считал рассказ "Дмитрий-царевич", который в числе других был представлен автором на критическое рассмотрение А.И.Солженицыну, А.А.Ахматовой и И.Л.Андронникову. Андронников в личной беседе с автором высоко оценил рассказы, но заметил, что время для их открытой публикации уже прошло. Высокая оценка содержалась и в коротеньком письме, присланном Ахматовой. Заинтересовавшись творчеством С.И., Солженицын приехал к нему сам. В течение нескольких лет Александр Исаевич встретился с Серафимом Ильичом, делясь опытом и пользуясь некоторыми его материалами в своей работе. В частности, именно С.И. Четверухин помогал А.И.Солженицыну в сборе материалов к "Августу 14-го". В дальнейшем С.И. работал, уже не надеясь на публикацию. Он не ставил перед собой задачи собрать как можно больше материала об ужасах лагерной и внелагерной жизни, фиксируя лишь наиболее характерные явления. Внимание писателя приковало прежде всего к внутреннему миру человека, оказавшегося в нечеловеческих условиях. С.И. предпочитал короткие рассказы, лапидарный стиль. Герои его - всегда конкретные люди, Имена не вымышлены.

Еще А.И.Солженицын предлагал С.И. опубликовать свои произведения за рубежом. После высылки А.И. на запад С.И. не раз получал аналогичные предложения, как и предложения начать публикацию рассказов в самиздатовских журналах. За рубежом С.И. публиковаться отказался, дабы не преграждать путь к возможной публикации когда-то в будущем у нас. То, что до этого будущего он не доживет — в этом он нисколько не сомневался. Свои рассказы он давал читать одним только близким друзьям и знакомым, тем не менее, уже к концу 60-х годов ряд его рассказов "пошел" по самиздату.

Сейчас, видимо, настает время шире ознакомить читателя с его литературным наследием.

Николай Байтов

М. С. Там

ОБЛАДАНИЕ ТАЙНОЮ. Владимир Набоков
или: ВЛАДИМИР НАБОВ. ОБЛАДАНИЕ ТАЙНОЮ.
О ВЛАДИМИРЕ НАБОВОЕ

Мы благодарим редакцию московского журнала "Е - салон", предоставившую "Сумеркам" текст эссе.

/публикуется в сокращении/

Набоков относится к типу писателей, обладающих тайной.

Впрочем, еще сначала нужно выяснить, что я подразумеваю здесь под словом "тайна". — Не есть ли это что-нибудь вполне "домашнее", безобидное, что в конце концов оказывается почти у всех?

И вот, чувствуя, что это не так, я начинаю перебирать в памяти всевозможных писателей и примеривать их по своему ощущению к "таинственному типу". Получается странный результат: я нахожу Шекспира, Гоголя и — кажется, больше никого... — Тогда сразу возникает вопрос: что, собственно их объединяет? — общий ли у них только "тип таинственности" или и сама тайна одна у всех троих?

Возьмемся рассуждать последовательно и попробуем найти момент единства в различных переживаниях, сопровождающих для меня чтение этих трех авторов. Единство сказывается в чувстве некой и н о р о д н о с т и, как бы в чуждом запахе, исходящем от их художественных миров. Иностранность же эта совсем не того сорта, какую можно предположить, например, при соприкосновении заурядной личности с гением. Еще менее связана она с недостаточным представлением об авторе как человеке. Я в этом уверен потому, что при чтении легендарного Данте или вовсе мифического Гомера ничего похожего не испытываю... *

*²⁾ О Данте, кстати, скажу еще кое-что. Многие современники считали его пророком, чуть ли не пятым евангелистом, писавшим под прямым воздействием Божественного откровения. Мы, гораздо более скептические читатели, тоже порой способны чувствовать в нем какую-то долю "вдохновенности свыше", — но картины его откровения при этом остаются нам близкими, сродственными, соответственными нашему природному устройству.

Видимо, в названных трех случаях "чуждый запах" происходит от чего-то не человеческого в художественном мире или в приемах его конструирования. А может быть еще глубже: от чего-то трансцендентного, не антропоморфного в самом творческом процессе у этих людей. Что-то сходное, вероятно, чувствовали музыканты у Паганини или математики у Галуа, — из-за чего одного обвинили в связи с дьяволом, а в другом заподозрили космического

пришельца. (И заметим: кто занимается сходным творчеством, тот в первую очередь распознает это "что-то не то").

Теперь, присматриваясь внимательнее, обнаружим в нашем ряду (Шекспир - Гоголь - Набоков) как бы эволюцию этой инородности в направлении все более явного ей обнаружения. Тайна близится к раскрытию, и у Набокова она уже так близко, под столь тонким покровом, что просвечивают, проступают разные куски, которые, кажется, вот-вот последней догадкой, последним отчаянным рывком воображения сложишь в единое целое... и это настолько же страшно, насколько и неодолимо привлекательно.

Весьма различно (а может быть, так же эволюционирует) отношение трех писателей к своей тайне.

Шекспир - бесстрастен и непроницаем. Он как будто изначально отождествлен с тайной. Он - некий Фантомас под маской, столь безупречно себя ведущий, что его невозможно уличить. Никаким сколько-нибудь внятным намекам на тайну он не позволяет просочиться в свой текст. При этом текст остается, в целом, настолько "чужим", что упорно рождает во всех исследователях подозрение, граничащее с уверенностью. Они вздымают шерсть и ворчат на него, как собаки, когда не могут отождествить запах и голос.

Далее Гоголь. Он, человек обыкновенной природы, допустил в себя тайну, но полностью, органично не смог с нею отождествиться. Из-за этого его конфликт с тайной. Она мучает его. Он одержим ею и поработен настолько, что не может довести её до сознания и говорить о ней внятно. А с другой стороны, он не может вовсе "молчать" и вести себя естественно, как Шекспир. Гоголь - робот, манекен, - лишь приблизительная имитация нормального человека. Он выдает себя во всем, ибо движения его - движения марионетки, и за каждым жестом чувствуются поддергиванья невидимых нитей.

Третий этап во взаимоотношениях писателя с тайной являет собой Набоков. Это человек, который сам овладел тайной и остался свободным. Страшной концентрацией воли он похитил тайну, вырвал ее откуда-то для некоторой своей цели. Может быть, это было связано для него с какими-нибудь душераздирающими "метафизическими" муками, - мы этого знать не можем. (Да едва ли человек способен представить себе что-нибудь подобное, равно как и выразить словами. Хотя кое-какую попытку описания таких мук Набоков и делает в рассказе "Ultima Thule"). Как бы там ни было, Набоков не только "выжил", как герой "Ultima Thule", но и устоял против тайны. Он не

дал ей над собой власти, а сам заставил ее себе служить: своему творчеству и своему душевному благополучию. Набоков в отношении к тайне бесстрастен, как Шекспир. Но бесстрастие Шекспира – от полного совпадения с тайной, бесстрастие же Набокова – от полного не совпадения. Шекспир молчит, не дает даже легкого намека на тайну, Набоков – говорит о ней спокойно, свободно, открыто. Он только не называет ее по имени, – по нескольким причинам: во-первых, Набоков шадит заурядного читателя, как это делал герой "*Ultima Thule*", ибо это откровение, видимо, очень трудно вынести, можно умереть, – а в-третьих, кажется, сама тайна имеет существенный игровой момент – нечто вроде шарады или кроссворда (Набоков говорил: "крестословица"), – и если ей показать в виде **з а п о л н е н н о г о** кроссворда, то ничего не получится, кроме банальности или бессмыслицы.

И все же Набоков старается подвести нас поближе к тайне. Он сознательно намечает определенные пути к ней. Он стимулирует интуицию у грубых, подбадривает малодушных, даже разжигает любопытство в ленивых, – все затем, чтобы, не беря на себя последней ответственности, все же поддержать человека, который решился бы посторить его "смертельный номер", рывок сквозь пелену эмпирики к ее сущностному механизму.

.....
 Больше всего говорится о тайне в двух произведениях Набокова" в рассказе "*Ultima Thule*" и в стихотворении "Слава".

"*Ultima Thule*" описывает апофатический путь к тайне, т.е. путь беспощадного отрицания всех избитых человеческих представлений и традиционных постановок вопросов. Тайна не есть то, не есть это: она не касается ветхого и дряхлого философского соперничества материи с сознанием; она не задевает также ни Бога, ни бессмертия души, ни загробной жизни. Тайна есть "другое" по отношению к любому привычному нам образу. Даже пойти на крайне слабое утверждение: что тайна раскрывает "сущность бытия", – можно лишь с той оговоркой, что слова "сущность" и "бытие" употреблены в этом утверждении с большей долей условности: просто нет в нашем обиходе других слов, более адекватных тайне. Короче говоря, "*Ultima Thule*" призывает отрешиться от всего абсолютно, чтобы воспринять нечто совсем инородное человеческой культуре – и далее: человеческому разуму, психике и самой природе.

Можно было бы сказать, что "*Ultima Thule*" не имеет в виду какую-то конкретную тайну, а есть просто философское эссе об апофатическом подходе вообще. И однако же там с подлинной убедительностью показан человек, который проник, прорвался в тайну неожиданно для самого себя, и показаны характерные черты его последующей жизни, по которым мы можем кое о чем заключить. Очень интересно, что делает этот человек, внезапно познавший "немыслимое" и удержавшийся при этом в здравом уме. Да, он выпадает из обычного человеческого коловращения, но выпадает "не очень". Он перестает есть, пить, спать совершенно спокойно. Он и не погружается в прострацию, в бездеятельность. Но силы его души переключаются с "утилитарной" деятельности на и г р у, единственная цель и интерес которой — с м е х, чистое увеселение самого себя. Он начинает играть в кошки-мышки с многочисленными и с к а т е л я м и философской истины: делает себе рекламу, разжигает их любопытство, провоцирует на самые отчаянные вопросы и выпады, — а сам без конца уваливает от ответов, и так ловко, что увлекает их все больше. Даже то, что он берет деньги за свои "консультации" и тем самым дает повод заподозрить себя в шарлатанстве, — есть ход, распадающийся азарт противника, и доставляет "держателю тайны" нисто игровое удовольствие.

(Заметим, что подозрение в шарлатанстве двойное: оно возникает не только у "искателя истины", но и у читателя рассказа (и ничем не рассеивается до конца). А значит и игра ведется параллельно в двух планах: игра внутри рассказа, и игра Н а б о к о в а с ч и т а т е л е м. Вот этот-то глубокий параллелизм и дает нам право говорить об "*Ultima Thule*" как о вещи не просто внешне-описательной, а в чем-то и личной для Набокова).

Итак, "*Ultima Thule*" несмотря на свой апофатический пафос дает нам все же любопытную картину. "Сущность" бытия и "внешность" бытия оказываются настолько инородны друг другу, что как будто ничем не связаны. Но связь между ними должна быть, и она есть: это связь и г р о в а я, а точнее маскарадная, театральная. И еще одно: основа этой связи — с м е х. И видимо даже так, что чем менее соответствует "актер" своей "роли" (Хлестаков — ревизору) — тем в е с е л е е актеру ее играть, да и единственный

смысл всей игры состоит в том, чтобы веселиться.⁺

Все-таки один только рассказ "Ultima Thule" еще не дал бы основания говорить о "набоковской тайне". - Катафатический путь к ней намечает нам более "милосердное" стихотворение "Слава". Оно уже подсказывает какие положительные признаки тайны, хотя делает это тоже косвенно (опять-таки как в игре: "тепло-холодно", но уже более доброжелательно).

И оно теперь определенно заявляет о принадлежности тайны самому Набокову. - Здесь дело в том "статусе", который имеет набоковская поэзия во всем его творчестве. Стихи его весьма отличаются от прозы - именно "наивностью", слабой защищенностью, тесной приближенностью к его "я". Это в большей мере "излияния души", чем

+ Кстати обратим внимание на образ театра, возникающий в стихах Набокова в применении к потустороннему миру. Вот примеры:

... На ограду мрака и огня,
на ограду реющего рая
облокачивался Зодчий дня,
думал и глядел, не раскрывая
своего туманного плаща,
как толпа работников крылатых,
крыльями блестящими треща,
солнце поднимает на канатах.
(Утро", 1924 г.)

... Неземной рассвет блеском облил...
Миры прикатили: распрягай!
Подняты огненные оглобли.
Ангелы. Балаган. Рай.
("Об ангелах", 1924 г.)

Стихотворение 1930 года "Представление" полностью посвящено этому образу. А вот замечательное стихотворение о смехе:

Блуждая по запущенному саду
я видел в полдень в воздухе пустом
двух бабочек глазастых, до упаду
хохочущих над бархатным пупом
подсолнуха. А в городе однажды
я видел дом: был у него такой
вид, словно смех он сдерживает; дважды
прошел я мимо, и потом рукой
махнул и рассмеялся сам; а дом, нет,
не прыснул: только в окнах огонек
лукавый промелькнул; все это помнит
моя душа; все это ей намек,
что на небе по-детски Бог хохочет,
смотря, как босоногий серафим
вниз перегнулся и наш мир щекочет
одним лазурным перышком своим.

"созданные вещи", — хотя и в них активно действует мастерство. Набоков не очень-то их публиковал. Часто он пользовался стихами как колбами с нежной материнской средой, где он выращивал зародыши идей для своих романов. — Во всяком случае, когда он говорит "я" в стихах, то почти всегда чувствуется, что это не повествовательный прием, а самое незатейливое, простодушное "я". Так обстоит дело и со стихотворением "Слава". В его финале тон достигает просто настолько открытой, наивной восторженности, что, мне думается, нечего нам с ним особенно мудрить и осторожничать... (Конечно, Набоков — известный мистификатор, но следует знать, когда ему можно просто поверить. Иначе, если не пресечь своей мнительности, бессмысленно вообще пускаться в рассуждения о нем).

"Слава" начинается с традиционной литературной ситуации — искушения двойником. —

И вот, как на колесиках, вкатывается ко мне некто
восковой, поджарый, с копотью в красных нозрях,
и сию и решить не могу: человек это,
или просто так — разговорчивый прах.

Как проситель из наглых, гроза общежитий,
как зловещий друг детства, как старый шпион...

Этот двойник принимается безжалостно дразнить и издеваться.

... Как пародия совести в драме бездарной,
как палач и озноб, и последний рассвет...

А вот его речи:

"Твои бедные книги", сказал он развязно,
"безнадёжно растают в изгнании. Увы,
эти триста листов беллетристики праздной
разлетятся — но у настоящей листвы
есть куда упадать, есть земля, есть Россия,
есть тропа вся в лиловой кленовой крови,
есть порог, где слоятся тузы золотые,
есть канавы — а бедные книги твои
без земли, без тропы, без канав, без порога,
опадут в пустоте, где ты вырастил ветвь,
как базарный факир, то есть не без подлога,
и недолго ей в дымчатом воздухе цвести.

.
Нет, никто никогда на просторе великом
ни одной не помянет страницы твоей:
ныне дикий пребудет в неведение диком,
друг степей для тебя не забудет степей.

.

Повторяй же за мной, дабы в сладостной язве
 до конца, до небес доскрестись: никогда,
 никогда не мелькнет мое имя - иль разве
 (как в трагических тучах мелькает звезда)
 в специальном труде, в примечаньѣ к названью
 эмигрантского кладбища и наравне
 с именами собратьев по правописанью,
 обстоятельством места навязанных мне...

В конце концов тон этого само-поддразниванья доводится до
 весьма высокой ноты, где срывается уже совсем в пародию. И вот тут-
 то вся банальная ситуация вдруг преобразуется совершенно неожидан-
 ным скачком. (Финал стихотворения я выпишу целиком).

И тогда я смеюсь, и внезапно с пера
 мой любимый слетает анапест,
 образуя ракеты в ночи, так быстра
 золотая становится запись.
 И я счастлив. Я счастлив, что совесть моя,
 сонных мыслей и умыслов сводня,
 не затронула самого тайного. Я
 удивительно счастлив сегодня.
 Эта тайна та-та, та-та-та-та, та-та,
 а точнее сказать я не в праве.
 Оттого так смешна мне пустая мечта
 о читателе, теле и славе.
 Я без тела разросся, без отзвука жив,
 и со мной моя тайна всечасно.
 Что мне тление книг, если даже разрыв
 между мной и отчизною - частность.
 Признаюсь, хорошо зашифрована ночь,
 но под звезды я буквы подставил
 и в себе прочитал, чем себя превозмочь,
 а точнее сказать я не в праве.
 Не доверяюсь соблазным дороги большой
 или снам, освященным веками,
 остаюсь я безбожником с вольной душой
 в этом мире, кишасем богами.
 Но однажды, пласты разуменья дробя,
 углубляясь в свое ключевое.
 Я увидел, как в зеркале, мир и себя,
 и другое, другое, другое

Некоторые из подчеркнутых здесь слов нам уже знакомы в применении к набоковской тайне: "смеюсь", "смешно". Другие: "зашифрована ночь", "под звезды я буквы подставил" – расширяют нам понятие "игры": теперь игра – не одно только театральное действие, но и еще нечто – специфически набоковское, – о чем я поговорю ниже. Но главное – это совершенно новый аспект тайны, связанный с ощущением бестелесности: "без тела разросся, без отзвука жив", – и еще один потрясающе точный образ: "вырастил ветвь, как базарный факир, то есть не без подлога". Вот тут-то, под этим образом, кажется, нащупывается самое главное, глубинное, что, собственно, и позволило сопоставить Набокова. Гоголя и Шекспира. Кто этого не чувствует, для того, конечно, такое сопоставление останется натянутым и произвольным...

"Слава", между прочим, показывает нам связь тайны со всем комплексом ностальгических переживаний Набокова. Тайна является в ответ на эти переживания и если не освобождает от них, то, во всяком случае, довольно эффективно лечит. Кое-что о чудовищных формах ностальгии Набокова мы можем узнать даже из его крайне скудных и иронических свидетельств об этом. Но сопоставим просто стихи с фактами его жизни. Вот он пишет: "однажды, пласты разуменья дробя",... и т.д. – Признаю рискнуть поставить простодушный вопрос: когда это – "однажды"? – "Слава" написана в 42 году в Америке. Есть примечательное стихотворение 36-го года:

Что за ночь с памятью случилось?	Решенье чистое, простое
Снег выпал что ли? Тишина.	(о чем я думал столько лет)
Душа забвенью зря училась:	Пожалуй и вставать не стоит
во сне задача решена. Ъ	ни тела, ни постели нет.

Здесь обращает на себя внимание звуковой рисунок вокруг важного слова "тело", – удвоение его, как бы эхо: "ни тела, ни постели..." То же самое в "Славе": "о читателе, теле и славе..." Хотя эти повторения, наверное, бессознательны, все-таки они похожи на некий ключ, шифр, пароль, – как будто посвященному должно быть ясно, что речь в обоих стихотворениях идет об одном и том же. (Правда, прозрение в тайну тут совершается вовсе не так, как в "Ultima Thule": без всяких родовых мук душа непринужденно выводит итог своей предшествующей многолетней работы; ей только надо было уснуть, чтобы ослабить охранительное давление предрассудков и штампов). – 39-м годом помечено загадочное стихотворе-

ние "Око", тоже, как видно, имеющее отношение к тайне[†]. С другой стороны, мы знаем, что в эти же годы был написан роман "Подвиг", при помощи которого Набоков, вероятно, пытался разделаться со своей навязчивой идеей о нелегальном переходе советской границы. Он переезжает сначала во Францию, а затем, в сороковом году - в Америку и принимает решение писать по-английски.

Как бы ни толковать все эти события, они, бесспорно, говорят о важном душевном переломе. Как будто в эти годы Набоков обретает какую-то уверенность, энергию, волю к жизни и к борьбе со своими страданиями. Нельзя сказать, что его ностальгии наступают конец. Чего стоили одни только муки перехода на английский, он немного дает понять в предисловии к "Другим берегам". (Да и стихотворение "Слава", написанное, вероятно, "в самый разгар" этих мук, может быть, связано с временным опустошением, упадком душевных сил, с потребностью вновь прильнуть к тайне как к живительному метафизическому источнику). Затем - его неуклонное стремление создавать русские эквиваленты своих английских романов, которое он в послесловии к "Лолите" с явно живой горечью называет "прихотью библиофила". Рассказывают также, что в годы уже близкие к нам, когда Белла Ахмадулина, будучи в Америке, добивалась свидания с ним, он решительно ей отказал и велел передать ей, что ни "эта страна", ни люди из нее для него не существуют. Вряд ли это похоже на благодушие (или равнодушие) старца, обретшего мудрое спокойствие. И все-таки надо думать, что тайна, которой он овладел в 38-м году,

[†] К одному исполинскому оку без лица, без чела и без век, без телесного марева сбоку наконец-то сведен человек.

и, конечно, не угол столовой и свинцовые лица родных - ничего он не видит такого в тишине обращений своих.

И на землю без ужаса глянув (совершенно не схожую с той, что вся пегая от океанов, улыбалась одною щекой),

Дело в том, что исчезла граница между личностью и веществом, и на что неземная зеница, если вензеля нет ни на чем?

он не горы там видит, не волны, не какой-нибудь яркий залив, и не кинематограф безмолвный облаков, виноградников, нив;

Это "Око" напоминает нам об Улыбке Чеширского Кота из "Алисы в стране чудес". "Чеширским" Кот был назван потому, что он улыбался и не зависимость от того, чешут его или не чешут. В дальнейшем оказывается, что его улыбка не зависит даже от наличия самого Кота, так что это уже некая инварианта вроде нирваны. О том же, кажется, говорит и последняя строфа. Впрочем, она остается не очень-то внятной и, видимо, не удалась автору из-за безволия перед звуковыми соблазнами: "вечность - вещество - неземная зеница - вензель".

рчень помогала ему, а быть может сохранила даже от психического заболевания...

Вот теперь, после предварительных рассуждений о ностальгии Набокова, я готов приступить к делу смелее: я готов заявить, что с самого начала все творчество Набокова-Сирина было оознательным и активным поиском тайны — и именно как средства на чем-то основать свою совершенно изолированную, оторванную от России (а стало быть, "от всего") — жизнь. Я готов заявить даже больше: что все творчество берлинского периода не имело для Набокова и н о г о с м ы с л а, кроме этого искания тайны — д л л я с е б я. Тайна интуитивно предчувствовалась им, даже предсознавалась. Он не только отлично знал, где ее искать, он уже изучил все ее повадки и умел ими пользоваться задолго до того, как ему удалось заглянуть ей в лицо. Правда, здесь дело еще в его особой одаренности, в его специфическом душевном устройстве, которое все же соответствовало "структуре" тайны...

С этой точки зрения уже становится вовсе неважно, какие стихотворения, какие рассказы с на мѣками на тайну писались раньше, а какие позже. — Набоков как-то признался, что с р а з у ж е, оказавшись за границей, он столкнулся с острой необходимостью воссоздать утраченное в его полнокровном телесном облике. Воссоздать не зачем-нибудь, а просто для себя, просто потому, что он не мог без этого жить. (Кстати, уезжая из России, он разлучился с возлюбленной, и он сам подчеркивал важность этого момента). Вот тогда-то, не имея вещественных средств для насущного воссоздания России и возлюбленной, он и начал сразу же "выращивать ветвь, как базарный факир..." А мы теперь сразу же без труда узнаем в этой деятельности решение задачи, по всем признакам связанной с тайной: эта задача полной имитации реальности, но "нетелесной", призрачной, "подложной", — такой имитации, когда облик и суть не связаны прямым, здравым, человеческим смыслом...

Здесь можно вспомнить многие любопытные примеры такой имитации. Мне почему-то прежде всего приходят на ум описания трех встреч-разговоров Федора Константиновича с поэтом Кончеевым из "Дара". Первый разговор написать было нетрудно: встретились, поговорили, расстались, — и Федор Константинович сказал себе: "ах, до чего ярко я все это себе вообразил". Второй разговор — чуть-чуть сложнее, ибо читатель, один раз обманутый, хоть и побаивается, а все же думает: "должен же я быть вознагражден за первый обман... да и в самом деле

хорошо бы этим милым молодым людям наконец встретиться и с удовольствием потолковать о поэзии... почему бы и нет?" - А тут как раз побаивающемуся читателю ненароком подбрасываются там и сям разные "добротные" признаки реальности, за которые, сам того не замечая, он спешит "проницательно" ухватиться... и вдруг... о п я т ь! - Но самой казалось бы немислимой задачей было написать третий разговор. Дважды проведенный за нос читатель с первых же слов напрочь отказывается верить... Остается единственная маленькая лазейка: сыграть на рефлексии, заронить в читателе подозрение о двуслойном обмане: "Он думает, что я теперь у в е р е н, что это обман, и с такой уверенностью и читаю, - а тут-то он и опишет н а с т о - я щ у ю встречу, а потом опять насмеется надо мной". И Набоков сначала незаметно подсказывает эту мысль, а потом ловко проныривает в узкую трещину, наметившуюся в нашем глухом недоверии, - и столь энергично начинает расталкивать ее, что превращает вскоре в широкую дыру... А затем уже без труда протаскивает в нее и весь разговор... и опять торжествует.

В описаниях этих мнимых встреч особенно становится нам явной "субстанция", с помощью которой Набоков имитирует реальность. Это отнюдь не та "сочная" и "добросовестная" реалистичность, к которой прибег бы всякий серьезный литератор, столкнувшийся с подобной задачей, но ничего не ведающий о тайне, - такая реалистичность помогла бы создать самое большее - хорошую литературу: добротную, а потому и "законно-условную", т.е. солидно пребывающую в границах своей "литературной сферы", а не прощмыгивающую контрабандой в сферу "непосредственных чувств". Субстанция же, из которой творит Набоков есть и г р а: это игра с читателем, который "знает про литературность", используя это его знание, можно привести в действие и его непосредственные чувства: ожидание, заинтересованность, разочарование, досаду, восхищение - и другие, может быть совсем невыразимые словами, - а уж из этих чувств сконструировать - не саму реальность, напролом, - а как бы ее "функциональную оболочку" - схему наших реакций на нее...

На самом деле мне следовало бы показать, что это, в первую очередь, есть п р о с т о игра, игра в чистом виде, а точнее - с с а м и м с о б о й. Интерес обмануть и завлечь читателя - не корыстный, о н - с п о р т и в н ы й. Это - игра духа, развещающего-

ся, свободно пробуящего свои силы⁺. Писательство Набокова, таким образом, не выдается из ряда прочих его занятий: спорт-шахматы-бабочки. Все это игры, но и среди игр Набоков отдает предпочтение тем, в которые играют без партнеров. Играя в футбол, например, он голкиперствует, т.е. избирает себе роль наиболее "контекстно-свободную", наименее связанную с другими ролями. В шахматах он составляет задачи: именно составляет - не решает! Даже для такой совсем уединенной игры, как коллекционирование, он избирает предмет - не человеческий, никак не взаимодействующий с культурой, с готовыми "архетипами". Что касается его отношения к писательству и его эстетических воззрений, то хотя у него не раз можно наткнуться на довольно категорические и надменные декларации искусства бесцельного, "самоцельного", "искусства для искусства", - но собственное его творчество было повернуто несколько -по-иному! он занимался искусством для себя. "Я никогда не встречал в жизни человека, с которым мне было бы так же интересно, как с самим собой", - говорил он. Думается, что в этих словах звучит кое-что посерьезней поверхностного самодовольства и насмешки над человечеством. Дело в том, что, воссоздавая, имитируя реальность средствами искусства, он сам переживает наслаждение такого полного обладания ею, какого не может дать ему никто другой. Те эмоциональные состояния, которые сопутствуют этой одинокой игре, - и есть его связь с сущностью бытия, с тайной.

Бабочки тоже не зря приковывают его внимание: он чувствует, что где-то здесь - "тепло", где-то в этом направлении тонкая пленка, отделяющая нас от тайны, особенно тонка и почти

⁺ Заметим, что если бы мы, читая эти разговоры, были уже посвящены в приметы набоковской тайны, никакого обмана не вышло бы. Мы с самого начала догадались бы, что Федор Константинович не может встретиться с Кончаевым наяву - просто по той причине, что он, как и сам Набоков, живет один, живет игрой своего воображения, которое, на самом деле, дает ему наверняка больше, чем могла бы дать реальная встреча.

прозрачна[†]. Не в том ли здесь дело, что бабочки (как и цветы) могут наиболее внятно свидетельствовать о существовании в природе красоты "бессмысленной", "бесцельной", - а с другой стороны, и а б с о л ю т н о й красоты, т.е. не зависящей от человеческих вкусов и суждений? - Именно такие случаи и выскивает Набоков: когда расцветку и узор нельзя объяснить воображениями мимикрии, а за их сложностью и изяществом стоит нечто иное, чем нехитрая цель-привлечение самки. Владимир Соловьев в статье "Красота в природе" вовсе отвергает "сексуальную утилитарность" красоты как ее единственный и конечный смысл. Он выписывает из Дарвина многие примеры, когда у самых различных видов красота имеет лишь одну цель: привлечение особей противоположного пола. И вот - виды различны, а красота - одна и универсальна. Иными словами, получается, по Соловьеву, что не то к а ж е т с я к р а с и в ы м, что привлекательно, а наоборот, то вызывает влечение к себе, что к р а с и в о, т.е. причастно некоей абсолютной красоте. Или может быть, в механизме сексуального возбуждения есть что-то общее для всего живого, - а потому и в красоте можно выделить универсальные компоненты? Но ведь цветы, когда своей красотой привлекают насекомых, вызывают в них уж наверное не половое влечение (хотя со своей стороны и преследуют очевидно сексуальную цель). - Можно было бы поискать ради любопытства, что думал по этому поводу Фрейд. Но я не стану этого делать, поскольку наша статья о Набокове, а он (мне совершенно ясно) в основном сходилась с описанной точной зрения Соловьева. Более того, он искал и высматривал крайние случаи "бесцельной" красоты, когда она есть просто игра (кого-то с самим собой), когда ее нельзя даже вполне осмыслить, описать,

[†] ~~Примеры его стихов~~ в бабочках:

... Здравствуй, о здравствуй, греза березовой северной роши,
трепет и смех, и любовь юности вечной моей.
Да, я узнаю тебя в Серафиме при дивном свиданьи,
крылья узнаю твои, этот священный узор.
("Бабочка - *Vanessa Atropa* " , 1922 г.)

... Мы - гусеницы ангелов; и сладко
вьедаться с краю в нежный лист.
Рядись в шипы, ползи, сгибайся, крепни,
и чем жадней твой ход зеленый был,
тем бархатистей и великолепней
хвосты освобожденных крыл.

(1923 г.)

Еще стихотворение "Эфемеры" 23-го года - тоже об ангелах, - и построено явно на зрительных образах, связанных с бабочками, хотя прямо там о них не говорится.

поименовать, — ибо осмысление и описание — тоже способы овладения предметом и быть может в чем-то психологически сходны с сексуальным овладением. Вот интересное стихотворение об этом:

Моя душа, за смертью дальней
твой образ виден мне и так:
натуралист провинциальный,
в раю потерянный чудака.

Там, в роше дремлет ангел дикий,
полуавлинье существо.

Ты любознательно потыкай
зеленым зонтиком в него,
соображая, как сначала
о нем напишешь ты статью,
потом... но только нет журнала
и нет читателей в раю.

И ты стоишь, еще не веря,
немому горю своему:
об этом сонном синем звере
кому расскажешь ты, кому?

Где мир и названные розы,
музей и птичьи чучела?
И смотришь, смотришь ты сквозь слезы
на безымянные крыла.

(“В раю”, 1927 г.)

В том-то все и дело, что, проникая в сферу тайны, в сферу “сущности бытия”, мы не обнаруживаем там “смысла” в нашем человеческом понимании, а следовательно, там отсутствуют и все знакомые вам способы связи (верней: связыванья) явлений чрез “овладение” (названия роз, набивка птичьих чучел и помещение их в музей, нахождение математических формул для законов физики — и т.п.). Эти связи бывают лишь в эмпирике, но не в “сущности”. А там какие связи? — Мы молчим. Мы только догадываемся, что “овладеть” мы можем лишь внешностью, которая есть “эфемер” сущность, ее маска, ее абсурдная игра (причем, и схема этой игры такова, что “специально” допускает такую возможность: д о з в о л я е т нам овладеть ее образами)...

И чтобы закончить этот разговор, выпишу из стихотворения Бродского:

Нынче ветрено, и волны с переклестом.
 Скоро осень, все изменится в округе.
 Смена красок этих трогательней, Постум,
 Чем наряда перемена у подружки.

Дева тешит до известного предела:
 Дальше локтя не пойдешь или колена.
 До чего ж милей прекрасное вне тела:
 ни объятье невозможно ни измена.

Если мы теперь сравним последнюю строчку с признанием Набокова в "Славе": "... а страны менял , как фальшивые деньги", то заметим, насколько здесь не случайно это слово "фальшивые", - насколько оно полно глубокого и положительного метафизического смысла.

Если произвольная эстетическая игра есть суть механизма, порождающего "серьезную", часто даже "унылую" или "трагическую" эмпирику, - то главное достижение духа в этой игре есть веселость, смех. Такой смех может быть назван "чистым" именно потому, что он - беспредметный. Это смех радости от спортивной победы духа над сложностью задачи, которую он сам себе задает как игру. Чистый смех не зависит от того, выиграли черные или белые. Монтечки или Капулетти, большевики или эсеры. Как сейчас принято говорить об итогах детских спортивных состязаний: "п о б е д и л а д р у ж - б а". - Стоит над этим чуть поглубже задуматься, как уже не так просто будет издеваться над подобным итогом. Ведь уязвленным, невеселым может остаться в итоге лишь тот, кто "уже не ребенок", т.е. человек "с происками", человек ищущий некой корысти или "пользы". И с данной "духовной" точки зрения не важно, кто это: болельщик ли, страдающий от проигрышей любимой команды, или революционер-фанатик, страдающий от непопулярности своей партии. - Чернышевский в "Даре" изображается глупым и духовно-ничтожным как раз потому, что он не умел смеяться: ему не было дано ощущение творчества как бесцельной игры, он во всем был отягощен "пользой" и оттого так "неуклюж". Примечательно, что Федор Константинович заинтересовался его биографией, когда случайно увидел где-то статью "Чернышевский и шахматы". В самом этом сочинении показалось ему нечто абсурдное. И далее, когда уже он принялся описывать его жизнь, он особенно замечает, что Чернышевский в детст-

ве не умел играть ни в какие игры.⁴

Чернышевский в некотором смысле эмблема для Набокова. Несомненно, что с помощью Чернышевского он осмысливает своё отношение к

+ У меня в детстве была книжка, изданная, вероятно, в конце двадцатых годов. Иллюстрированная экзотическими картинками, она заключала в себе поэму под названием "Шахматы". Я не помню фамилии лихой поэтессы, но процитирую и теперь без запинки.

... В деревнях пустыне жилища, на полях не видно овец, и плетутся тысячи нищих по дороге в княжий дворец. У дворца резные ворота, охраняют их сторожа. Там живет, не зная заботы, молодой счастливец раджа.	Он в саду ласкает павлинов, позабыв про голод в стране, и сверкает цепь из рубинов на его любимом слоне. Пусть, должны воплем тревожа, погибает его страна, — никому раджа не поможет, никому не подаст зерна...
--	---

Оказывается, шахматы были придуманы одним бенгальским нищим для того, чтобы накормить голодных из заборов этого раджи.

... Смеется князь: "Сыграть хочу, мне нравится игра. Тебе за проигрыш плачу пять слитков серебра". Старик качает головой в ответ на речь раджи: "Раджа, пшеницы мне простой на доску положи: на первой клетке два зерна, четыре на второй,	на третью восемь сыпь сполна и вновь число удвой, — всю доску выложи зерном, удваивая счет, и станет нищий богачом..." Хочет князь: "Идет! Клянусь, для такой игры цена невелика!" И на узорные ковры сажает старика.
---	--

Мудрый старик, разумеется, облапошил дурака-раджу и отдал хлеб своему народу.

... Так пригодится нам игра, что нас готовит в бой. И вот сидим мы вечера над шахматной доской.	И недалек веселый срок, настанет час расплат: раджам на запад и восток мы скажем "шах и мат"!
--	--

Эта книжка производила на меня в детстве столь сильное впечатление что я, играя в шахматы, не мог отрешиться от посторонних эмоций, и, наоборот, вследствие этого так и не выучился толком играть.

А вот что пишет В.Ф.Турчин в книге "Инерция страха":⁴ ←

Человек, играющий в шахматы, делает ход с а м, на свой страх и риск: никто им не руководит и никто ему не мешает. Правда игры строго определены, постоянны и интернациональны, — это, кажется единственный случай трогательного единства взглядов между представителями всех классов и партий. Нравственность партийна, искусство партийно, наука партийна, и только шахматы беспартийны — какая радость! И никому никогда — даже в лучшие сталинские времена — не приходило в голову разделить шахматные дебюты на материалистические и идеалистические. Наконец, государство любит и поддерживает шахматистов — в целях завоевания престижа на международной арене. И вот результат: СССР — неоспоримо сильнейшая шахматная держава.

Иногда мне кажется, что лучшие интеллектуальные силы страны брошены на шахматы".

Этот абзац был написан, быть может, года за два до того как последние жалкие остатки шахматного вдохновения покинули нас вместе с Корчным и эмблемой советских шахмат стала идиотическая улыбка патристического робота.

+ < "Лучше всего в Советском Союзе быть шахматистом!"

советской России. И главная претензия его к совдепу — все та же: духовное убожество, стойко наследуемое многими поколениями от первоначальных "разночинцев-демократов" и в конце концов перестроившее всю Россию по своему подобию, возведшее себя в закон, — духовное убожество, которое заключается в неумении играть и смеяться.⁺ — Набоков не только не связывает "беду" с конкретным "режимом", но копает гораздо глубже, — чуть ли не глубже всех размышлявших и писавших об этом (не говоря уж про эмигрантов). "Я не представляю себе такого режима в моей чопорной отчизне, при котором "Лолита" могла бы быть там опубликована",[✓] — замечает он мельком в послесловии к этому роману. То, что он высказал в этой фразе о публикации — совершенно справедливо. Но он не договорил того, что, вероятно, хорошо чувствовал: что нигде в "человечестве", даже в тех местах, где разрешено печатать все что угодно, — "Лолита" не встретит полного понимания: она останется инородной, вытаскиваемой какими-то силами души у большинства людей. Люди не умеют играть, потому что ищут "смысла" в игре, а стало быть не могут отрешиться от "содержания" игровых связей. Какой-то природный инстинкт приковывает их к материалу, из которого "сделаны фишки", и каждая фишка, съеденная противником, воспринимается как кровная утрата. Но они боятся потерять и это чувство, ибо тогда "воспарят в пустоте", словно отвявшийся воздушный шарик.

— Так, вероятно, чувствовал себя Гоголь, — и мучился этой наприкаянностью. Его тяжелая, изнурительная борьба с тайной принимала в области его творчества форму борьбы со смехом в себе. Он лихорадочно шарил по сторонам: к чему бы привязаться, чтобы написать что-нибудь "серьезное". Его творения хранят глубокие и странные следы этой борьбы.

+ В стихотворении "Ульдаборг" 1930 года Набоков описывает город, из которого "изгнан смех", явно имея в виду Россию. Вот последние строфы:

Озираются, жмутся тревожно. Усм. В. Набоков "Лолита". Бюкка
 Что за странные лица у всех! журнала "ИЛ" М., "Известия", 1929
 Дико слушают звук невозможный:
 я вернулся, и это мой смех —

над запретами голого цеха,
 над законами глухонемых,
 над пустым отрицанием смеха,
 над испугом сограждан моих.

Погляжу на знакомые лица,
 на алмазную в небе гряду,
 глубже руки в карманы засуну
 и со смехом на плаху взойду.

В "Ульдаборге" чувствуется еще еле внятное "шевеление идеи" "Приглашения на казнь". Таким образом это довольно неприятное стихотворение являет нам любопытное звено между навязчивыми мечтаньями Набокова о России и своем возвращении — и высоко-сублимированной схемой этого романа.

Временами они оказываются как бы двуличны. Чего стоит одна "Шинель". коротая со времен Белинского безоговорочно принималась за эталон "социально-обличительной лирики", - вплоть до времен Эйхенбаума, который, разложив ее на составные части, не пожелал там увидеть ничего кроме "здорового" зубоскальства, - зубоскальства "от всей души", не важно над чем (предмет - первый попавшийся).

"Бессмысленное зубоскальство", - вот то предварительное имя, которое мы могли бы дать искомой тайне. При всем понимании, несколько такое определение остается неполным, односторонним, - при всех оговорках об оставленных возможностях расширения и усложнения, - оно все-таки категорично. ★

† Тут невольно на ум приходит еще одно имя: Хармс. Его смех так неудержим, бессмыслен, "глуп", что тоже как будто прорывается в "метафизику"... Но Хармс - мелькнул, и о нем нет почти никаких данных. И не успеваешь уловить его причастность к тайне так же определенно как в случаях с Гоголем и Шекспиром. И все-таки чувствуется, что именно он мог бы открыть новые удивительные глубины и пространства этой тайны, - потому что он писал для детей и первый догадался реконструировать их мир на основе полного абсурда. Попытки Льюиса Кэрролла, хоть уже и верные по тону, остаются все еще традиционными "заигрыванием" по сравнению с совершенной и самозабвенной и г р о й Хармса. (Я уж не говорю про других. Например, - у "слонотряпистствующего" резонера Экзюпери во всех его нудных рассусоливаниях нет детского ни на грош).

Жили-были три селедки:

Куська, Муська и Балда.

Куська-Муська спали вместе,

а Балда спала одна. -

Это законченное произведение (далее ничего нет). Это современная детская считалка, так сказать, "натуральная". И мы видим, что никто кроме Хармса не мог этого понять и уловить, а тем более - проехать на этом в метафизику. Когда читаешь Хармса, порой просто кружится голова от раскрывающихся необозримых глубин. Например, его "жестокость", непонятная и отталкивающая многих, вдруг совершенно логично связывается со знаменитой "детской жестокостью", которая предстает как подлинная жизнь детского сознания, вполне трансцендентного по отношению к взрослому "целе-ориентированному" миру. Все дело в том, что у детей нет никаких (или почти никаких) ц е л е й, - они просто не знают еще, какие цели можно ставить (кроме игры и чистого - "серьезного" - увеселения). Поэтому они видят мир совершенно иначе.

Ведь наше "страстное" отношение к миру, наше вожеление и боязнь как бы "поляризуют" наше восприятие, покажут, искривляют всю картину... И не зря, — теперь вспоминаем мы, — Набоков так злобно глумился над Фрейдом именно в тех случаях, когда сталкивался с его представлением о детских сексуальных целях (т.е. совсем маленьк их) детей, младенцев — чуть ли не вплоть до эмбрионов). Это же, собственно, и есть эффект необратимого искажения Фрейдом-взрослым "реальной" (т.е. детской) картины мира. Это та же смешная болезнь рознания, которая непременно заставит нас приложить свое жалкое глубокомыслие к слову "с п а л и" — в цитированной выше моей любимой считалке... | ← *Юлия Сивски*

Реальная, детская картина мира потому и таинственна для нас, что утрачена вместе с младенческой беззаботностью. Оказывается, что за театральной маской скрывается ребенок, — вот в чем тайна. (Вспомним опять стихотворение "Блуждая по запущенному саду": "... на небе по-детски Бог хохочет"). И наши таинственны^е литераторы выглядят с этой точки зрения так: Шекспир — естественный, органичный ребенок; Гоголь — угрюмый, нетерпимый гонитель своего детства; Набоков — сознательный, дерзкий и удачливый конструктор пути назад — в утраченный мир своего детства.

... Все это так и отлично, — но только в том случае, если мы не забудем, что все слова, произносимые нами: "игра", "смех", "детство" — отнюдь не собственные имена тайны, а лишь клички, м е т а ф о р ы. И ведь ничего много кроме метафор мы произнести и написать не можем. Пока эта тайна внеположна нам, т.е. является объектом нашей последовательской агрессии.

И все-таки совершим на нее еще один наскок. — Здесь я хотел бы рассмотреть в особенности набоковского понимания игры.

Несомненно, что игра Набокова имеет дело в первую очередь с законами, с соответствиями, со схемой. Воплощают же схему некоторые з н а к и, т.е. фишки, у которых, вообще говоря, н е в а ж н о что в н у т р и. Поскольку связь между "сущностью мира" и "внешностью мира" абсурдна, то играющие или "артисты" никак не входят "сами по себе" в игровую схему. Их "театр" — знаковый, подчеркнуто условный, а не "реалистический", направленный на "раскрытие" характеров". Предметы изображаемого мира — н е в а ж н о что: темная, однородная плотность, "вещь в себе". Важна только внешняя окраска, узор, т.е. "знаковость" вещи, в соответствии с которой она переставляется и сочетается с другими вещами. Если это театр, то скорее кукольный (и то он временами больше похож на шахматы).

"Знаковостью" объясняется и "бестелесность" игровых образов, их смутно ощущаемая "подложность". Факир вместо живой ветки показывает нам с х е м у ветки, — но настолько безусловно составленную, что она становится почти обязаемым призраком этой ветки. Иногда думается, что родился Набоков на полвека позже, он несомненно обратил бы внимание на вычислительную технику и мог бы стать превосходным и — самое удивительное — в д о х н о в е н н ы м программистам (хотя обязательно "бессмысленным", т.е. не касающимся утилитарных задач)...

Как художник Набоков убежден, что более полной иллюзии можно достичь не анатомируя вещь, а манипулируя ею. Вещь призывается к большей реальности не тогда, когда мы стараемся воспроизвести в н у т р е н н и е условия ее бытия, а тогда, когда мы просто называем ее по имени — но в точно выверенный момент и в строго рассчитанном месте, т.е. в необходимом для нее внешнем контексте других вещей. Это, видимо, есть практический вывод, который делает Набоков из т а й н ы, — из сущностного механизма самой реальности. Все изображаемое Набоковым — начиная от мелких деталей и кончая героями о их характерами и страстями — убедительно не потому, что внутренне обосновано, а потому, что все вместе составляет цельный, логически безупречный — а потому неизбежный — узор.

Я не стану здесь подробно рассматривать образную систему его стихов. Но интересно вообще заметить: все его поэтические средства направлены на то, чтобы отодвинуть изображаемый предмет и как бы замкнуть его в себе, превратить в замкнутую п о в е р х н о с т ь, с тем, чтобы абстрагироваться от его "внутренней жизни". Тогда он превращается в идеальный знак, т.е. в послушный элемент узора.

То же можно сказать и о героях его романов. — Каждый из них представляет собой некую однозначную данность, которая сама по себе не развивается и не меняется; а жизнь героя — это выписывание узора во времени, это траектория, определяемая схемой игры...

Вспомним для сравнения героев Гоголя. — Многими замечалась их поразительная "мертвенность". Это застывшие эмблемы разных чудовищных характеров. Вообще "характерами" занималась почти вся современная Гоголю литература, но никто не превращал их до такой степени в эмблемы, как он. — Надо, впрочем, заметить, что Набоков создает схемы гораздо более сложные и интересные, чем Гоголь, — а быть может и более значительные. Поэтому здесь между Гоголем и Набоковым встает как посредствующее звено еще один писатель: Достоевский. Это может показаться странным: мы знаем, как пренебрежительно относился к Достоевскому Набоков, — да и вообще, Достоевский — человек совершенно

"иной метафизики". Но не случайно он считал себя учеником Гоголя и Шекспира. — Чему же он у них учился? Гоголь, говорят, имел влияние на его язык, но дело сказывается гораздо серьезней: Достоевский учился не подвижности. Вернее сказать, он учился изображению характеров и страстей столь сильных, что они уже не могут изменяться и превращаются в рок. И он сделал следующий шаг, когда стал описывать и деи-страсти, тоже в своей упорной неподвижности достигающие значения рока. — Вот это и наследовал после него Набоков.

Важно однако подчеркнуть разницу: у Достоевского навязчивая идея дается как момент в внутренней жизни героя. Герой остается существенно неопределенным, не замкнутым, и он развивается в сложных взаимоотношениях со своей идеей, — как бы та ни сковывала его и ни сводила судорогой его лицо в какую-нибудь гоголевскую гримасу. Лицо может быть неподвижным, как у Ставрогина или Свидригайлова, судьба тоже может быть неотвратимой, как траектория шахматной фигуры, но внутренняя жизнь — парадоксальным образом — остается совершенно свободной, и именно на этой свободе Достоевский фокусирует изображение.

У Набокова дело обстоит иначе. Страсти его героев по своей силе, сложности, необычности и неподвижности несомненно сходны со страстями героев Достоевского; тем не менее назвать эти страсти идеями не так-то просто: хотя они часто бывают вполне осознаны, они слишком совпадают с самими героями (в этом решительный шаг назад к Гоголю). Их можно было бы назвать скорее причудами — если бы это слово не носило столь мирного, безмятежного оттенка. Все герои Набокова, по сути, оказываются весьма цельными личностями. Каждый из них — будь то Лужин, Гумберт, Герман (герой "Отчаянья") — или Цинциннат, или даже Федор Константинович — не только страстно одержим своей "причудой", но и полностью ею определен. "Причуда" замыкает героя в некое плотное единство — категорическое и недвусмысленное, которое поэтому может с успехом выполнять функцию знака. Если Достоевский сам терпеливо служит своим героям, как заботливое Провидение (любого "конечного" человека он не устает ставить в ситуации, провоцирующие его свободный выбор, и тянет и тянет роман, ради крохотной живой надежды, пренебрегая карстой пропорций), то Набоков заставляет героев служить себе, т.е. готовит их для ситуаций, которые ему интересны, готовит для выписывания изысканного, точно рассчитанного узора (вспомним рассказ "Набор", где герои призываются, как рекруты). Герой Набокова надевает яркий мундир, он звонко, отчетливо произносит текст присяги и с этой минуты становится зна-

ком выражающим идею, нужную автору для его игровой схемы, и которую иначе не выразишь. "Внутренность" такого героя — обмундированного, обученного уставу и приведенного к присяге — далее никого не волнует. Она просто остается за схемой его служебных обязанностей. Схема не нарушится, если этой внутренности не будет вовсе или она скажется абсурдной по отношению к "внешности". ("Корнет, вы- женщина?" — праздный вопрос с точки зрения Набокова; а для человека, владеющего повадками тайны, это вопрос еще и н е к о р р е к т н ы й; Набоков никогда его не задает).

Есть интересный с этой точки зрения рассказ "Королек". Вдумаемся, о чем там речь. — В доме поселяется новый жилец, который своим необычным видом, замкнутостью, необщительным поведением очень раздражает своих соседей — двух грубых немцев, братьев. Они начинают к нему приставать со знакомством, навязываться, следить за ним, — но ничего о нем так и не узнают. Наконец их раздражение и животная неприязнь к нему доходят до такой степени, что они его убивают на улице. Утром к ним находит полицейский и начинает расспрашивать. Он сообщил им, что их сосед был "корольком", т.е. фальшивомонетчиком, и недавно отбыл срок заключения. Когда его нашли убитым, полиция подумала, что это дело каких-то его прежних сообщников, которые сводили с ним счеты. — Братья облегченно расхохотались. О б л е г ч е н н о — не потому только, что подозрение пало не на них, а главным образом потому, что человек, мучивший их — разгадан. Он разгадан как шифр: найдено слово "к о р о л е к", которое точно вписывается в клеточки своих загадочных признаков. — Рассказ же Набоков заканчивает обращение к герою в таком роде: "Вот оказывается в чем дело! А уж мы с моим читателем подумали было, что ты — уединенный мечтатель, может быть, поэт, запирающийся ночью в своей комнате и до утра упивающийся вдохновенными фантазиями..." и т.п. — Ситуация рассказа исчерпана. Но ведь это чисто знаковая ситуация. Весь интерес состоит в опознавании знака. Автор, играя с нами, наводит на ложную отгадку "поэт", в то время как сам задумал менее тривиальный знак — "фальшивомонетчик". Вопрос же: "а что, собственно, это был за человек?" оставлен решительно за рамками рассказа; автор ни словом не объясняет ни что делал герой, запершись ночью в комнате, ни что он думал о своих агрессивных соседях, ни что он чувствовал, когда те его убивали. Вообще неизвестно чувствовал ли он, думал ли, боялся ли — и т.д. Он кукла, набитая неизвестно чем — и с точки зрения рассказа н е в а ж н о чем: тряпками, или описками,

или железками, или - и это было бы совсем замечательно - с т и х а м и. которые он действительно мог писать по ночам... Только снаружи он ярко раскрашен...

И теперь, если мы внимательно взглядемся, мы увидим эту же картину в любом набоковском романе. Даже там, где подробно описываются мысли и переживания героев, это все не свободная жизнь духа, а **р а с к р а с к а**, необходимая для **в н е ш н е г о** включения героя-знака в разнообразные и сложнейшие контекстовые связи. Кон - фликты романов - часто трагические - есть, по сути, знаковые кон - фликты. Взаимная непроницаемость различных знаковых систем, "неузнанность" знака, т.е. запрещение его "цензурой" системы; знаковый конформизм или "мимикрия"; **развблечение** ложных знаков - вот проблемы, которые занимают Набокова и которые он воплощает в схемах своей игры.

Для нас будет особенно интересно заметить, что некоторые романы Набокова, собственно говоря, прямо посвящены "узнанию тайны". Разрабатывается схема этого uznания. Тайна для героя состоит в том, что он оказывается знаком, который некая метафизическая играющая сила, некий "автор" **включает** в свой узор. До **пр**еделенного момента герой **с л е п**, а затем он вдруг прозревает свою "знаковость" и истинный смысл контекста, в который он заключен. Он как бы заглядывает в метафизику описанных событий и на какое-то мгновение становится на один уровень с автором. - Но это прозрение не есть итог внутреннего развития героя, а происходит "катастрофически" для него, т.е. в результате логического развития непонятого контекста. И если романы Достоевского начинаются с точки самосознания героя, то романы Набокова на этой точке **к о н ч а ю т с я**. - Из героев "слепых и прозревающих" самый сложный и "живой" - Лужин, и, как ни странно, именно потому, что он **Ш а х м а т и с т**. Его душа оказывается сродни тайне, и поэтому он может предчувство - вать и предугадывать свою знаковость, свое место в игре. Вся его жизнь, начиная с раннего де **т**ства, интуитивно строится им поэтому как **з а щ и т а**. Он не может четко видеть противника, но постоянно чувствует его **ж**оды как некие напряжения агрессивной энергии. - Другие герои "слепы совсем", и оттого их прозрения более внезапны и трагичны. Зато они и отказываются призна **т**ь свое место и правила навязанной им игры, они завершают игру все же утверждением своей свободы: бунтом против позна^нной тайны, - и достигают при этом в своем роде духовных высот. Герой "Камеры обскура", который,

как царь Эдип, физически слепнет в момент своего прозрения, делает отчаянную попытку убить вслепую (изменить познанный контекст, с которым он не желает мириться) — и сам при этом гибнет. Особенно симпатичен в конце своей игры Гумберт, который не смотря на свое двойное имя не видал, что их двое, а прозрев, убивает двойника и, действительно, на некоторое время освобождается от гнусной роли. В противоположном по смыслу контексте осознает себя Герман, герой "Отчаянья". Он был уверен, что их двое, а вдруг увидел, что он один. Но сложность и чудовищный трагизм его положения состоит в том, что он "сам автор", т.е. вел "свою игру" и в слепой самоуверенности думал, что он играет сам с собой, а оказалось, что он играл против тайны, которая по-своему завязала его в совершенно иной контекст. В апофеозе отчаянья он уподобляется Иову, когда бросает тайне страшное обвинение в "бездарности". Он утверждает, что его схема была лучше, красивее, изящнее, что не признать ее могла только инстанция, напрочь лишенная "вкуса". В ответ тайна безжалостно добивает его, показывая вдруг грубую и нелепую ошибку в его схеме⁺...

⁺ Говоря о слепцах и распознавании знаков, я не могу не воспользоваться случаем и не процитировать здесь одно из самых замечательных и моих любимых стихотворений Набокова. Оно называется "Аэроплан" Это же и имя знака, узнаваемого в нем. —

Как поет он, как нежданно
вспыхнул искрою стеклянной,
вспыхнул и поет
там, над крышами, в глубоком
небе, где блестящим боком
облако встает.

В этот мирный день воскресный
чуден гул его небесный,
бархат громовой.
И у парковой решетки
на обычном месте, кроткий,
слушает слепой:

губы слушают и плечи —
тихий сумрак человеческий,
обращенный в слух.
Неземные реют звуки.
Рядом пес его со скуки
щелкает на мух.

И прохожий, деньги вынув,
замер, голову закинув,
смотрит, как скользят
крылья сизые, сквозные,
по лазури, где большие
облака блестят.

(1926 г.)

Немного соберемся с мыслями.

У меня возникает грустное чувство, что тайна, о которой я вы-
талялся рассуждать, легко проскользнула между написанных слов. Впрочем,
этого, конечно, и следовало ожидать с самого начала. Теперь, открыв
книгу Аверинцева "Поэтика ранневизантийской литературы", мы в
главе "Унижение и достоинство человека" можем найти все те слова,
которыми я пытался здесь уловить тайну. Там они собраны как итоги
античного мироощущения. Вот они: "гөмерич еский" смех богов,
б е с ц е л ь н ы е деяния героев; атлетические и г р ы, в кото-
рых греки усматривали подражание богам и возводили в ранг священ-
нодействия; наконец, созерцаемое извне, статуарно замкнутое тело
(зрачки в г л у б ь, внутрь начали просверливать у статуй - и тем
самым делать их з р я ч и м и - только с первых веков нашей эры).

Если угодно, можно отметить и различия (только, наверное, это
уже все равно). - "Вечная юность" богов - это не совсем детство,
и их поведение или "провидение" не совсем абсурдно. - Греческая
красота не есть у з о р, и игра не есть плетение узора. Схема
игры более т е л е с н а, приближена к человеку. Про статую можно
с уверенностью сказать, что внутри она заполнена тем же материалом,
который осязаешь, притрагиваясь к ее поверхности. А у Набокова
мы скорее имеем дело с чем-то вроде египетских мумий или с коко-
нами бабочек, на которые смотришь и думаешь, что они могут быть
наполнены дремлющей жизнью, а могут быть и высохшими - тогда рас-
сыпятся при легком прикосновении.

("Когда бы грек увидел наши игры...")

Набоков нетерпимо и насмешливо относился к попыткам проник-
нуть во "внутренний" (или "символический") смысл его романов, найти,
так сказать, их м е т а-с х е м у, т.е. комплекс идей-эмоций, ко-
торые порождают схему и приводят ее в движение. Тем не менее его
романы - именно благодаря смутно подозреваемому в них подлогу -
активно провоцируют на подобные попытки, и исследователи никогда
не устанут их предпринимать. Зато и осмеяние их есть момент
общей литературной игры Набокова. Говоря философствующему чита-
телю: "не лезь, там все равно не то, что ты думаешь", - он
ведет себя как герой "*Ultima Thule*". И точно так же как тот
завлекает, намеренно показывая сквозь ткань одежд проступающие
ребра каркаса. Действительно, сколь великий философский азарт
может вспыхнуть в нас при мысли, что "Лолита", например, есть
роман о безнадежной и трагической любви дряхлой к у л ь т у р ы

(Гумберт, утонченный европеец, пресыщенный, утративший вкус и волю к любым "ценностям") к юной цивилизации (Лалита, американская девочка, вульгарная, примитивная и наивная). А уж от ^{какой} Головокружительной символики мы не удержимся, если при этом еще и заметим, что Гумберт есть злая и осложненная глубокой полемикой карикатура на Германа Гессе и его "лирических героев" (Фарри Галлер, Г.Г., "паломничающий в страну востока", да наконец, и сам Магистр Игры Иозеф Кнехт)...

Впрочем, наверное Набоков и в самом деле терпеть не мог Гессе. Он не навидел его за то, что этот человек, совершенно не умеющий смеяться, дерзнул с тяжким глубокомыслием рассуждать о божественном "касталийском смехе"; что Касталию он превратил в нудную школу со всеми обычными признаками школьного идиотизма, столь ненавистными любому нормальному ребенку; что у него Магистр "Игры Игр" рассуждает о "пользе и вреде" культуры почти в духе журнала "Современник", а любовные похождения Степного Волка чем-то непреодолимо напоминают проказы эмансипированной Веры Павловны...

Для Набокова Гессе - это грубый профан, осмелившийся прикоснуться к тайне, -

Таким же остаюсь и я,
смиранный Н.Байтов
в мае 1983 г.

ТРИ ТЕКСТА ОБ АНАТОЛИИ ВАСИЛЬЕВЕ

I

ОПЫТ ПОРТРЕТА, 1987 ГОД

Он любит некрасивые лица. В перерыве между репетициями он садится в своем подвальчике во главе длинного стола. Полякова, Петренко, Филосов и еще незнакомые, длинноволосые и бородатые, пьют чай и едят один на всех белый батон. На дворе весна, через решетку окна виден этот стол, ниже асфальта, наверно, где-то рядом с корнями огромных тополей, что около дома начинают зеленеть и шумят ветвями высоко в небе. Он похож на Леонардо.

Окруженный ореолом избранности, несет ее в себе и играет ею. Вокруг — легенды, вокруг подвальчика — толпы и тени.

Спускаются по ступенькам — вниз пять ступенек, колокольчик звенит, дверь отворяется, потом закрывается, и еще пять ступенек вверх. Так и ходят. Вокруг.

А когда оказываешься перед его глазами — глаза смотрят пристально, тяжело — как хочется сорвать с себя проклятые клипсы, и руки тянутся к ушам, а глаза наполняются слезами.

— Откуда?

— Из Ленинграда. Приехала на три дня, хочу к Вам на репетицию.

— Нет, это невозможно.

И он продолжает смотреть — и слезы неудержимо льются по щекам.

— А чем занимаетесь?

Он сидит, опираясь о стол руками, он заполняет собой все пространство, вокруг много народа, курят, разговаривают, но их не вижу.

Притяжение черной дыры зрительного зала, когда стоишь на освещенной сцене и не замечаешь ничего вокруг. Говорят, в нем энергия сжатой пружины, говорят, что это прием — в спокойствии возможность взрыва — и это воздействует, говорят о поглощении энергии...

(Конечно, спокойнее думать о каких-то там пружинах). От многого отказавшийся на многое имеет право. В нем сила избравшего самому себе путь и покой. Покой верующего.

— Позвоните завтра в три.

И медленно провожает взглядом до двери. Пять ступенек вверх — уже своих!

А завтра — долгий разговор по телефону, и неожиданно простые, заземленные какие-то вопросы, об обратном билете, об очередях в кассах, — потом полет и безумные поиски этого затерявшегося дворика —

того самого с тополями и ~~и~~ — пять ступенек вниз и колокольчик — и наконец — он. Скользит глазами.

— А кто вы? Не помню.

Отвернулся. Уходит.

— Боже мой, да это же я, из Ленинграда, на три дня...

— А, ну заходите, если хотите. Ничего интересного.

Была большая комната, почти пустая. Ряды венских стульев. Стол. Веранда из "Серсо". Сного лиц — некрасивых, неактерских, замечательных — его студенты. Непохожи ни на чьих других. Ни вседозволенности в словах, ни базарной броскости в одежде — спокойны, собранны, уверенны (обретшие веру?) как он.

Играют... Дюма.

Но сначала он садится перед ними (а еще, еще, сначала они пародируют его позу — нога на ногу, голова опущена, локоть правой руки на колене, рука обхватывает голову слева и концы пальцев терются где-то в шевелюре; смеются негромко, быстро наступает тишина) и он говорит о том, что Дюма превосходный материал, они кивают головами (какое недоумение у постороннего!), потом он пропадает в темноте веранды и оттуда, из веранды, летящей в космической пустоте "Серсо" (почему космической? просто пустоте, — сказал один скептик), хранящей в памяти приковсновение рук актеров и их голоса, из веранды — а он обживает ее, там столик, скамейка, пепельница, и поыхивает из этой темноты огонек сигареты — оттуда смотрит на освещенный центр комнаты, где, под тремя прожекторами, привешенными к потолку, в своих обычных пальто, шарфах и шляпах, его ученики играют Дюма, и является чудо, — в пустом пространстве возникает реальность дворцовых зал, анфилад и переходов, балконов, факелов с их рвущимся и коптящим пламенем, реальность вещная, видимая до подробностей (сценография, созданная воображением?) и в этой реальности существуют люди с той свободой, многообразием и гибкостью движений души, которая возможна лишь в истинной жизни. Не схема, а мир, сотворенный на глазах двух десятков зрителей — его учениками.

Как устаем от театра сконструированного и пустого пустотой актерских голов и сердец, забитого до отказа безобразными равно безобразными вещами, как тянемся к театральности равно магии, к Стуртуа и Некрошосу сбегает, едем на поезде и самолетом летим на другой конец света из наших якобы театральных городов, а вот здесь в подвальчике — тополя, ступеньки вниз и колокольчик — существуют все чудеса театра, которые только можно себе вообразить.

Ученики похожи на своего Мастера - они живут главным и театр живет в них самих.

Он делает несколько замечаний. Говорит о блестяще прочитанном монологе, что ему не важен смысл, ему важно, что вокруг слов, атмосфера монолога, (нет, он не произносит этого слова - что-то о повторяемости структуры, о модуле - ученики понимают сразу, непосвященные улавливают с трудом), ставит в пример актеру, читавшему монолог - разговор пажа и герцогини из "Нельской башни". отрывка, с которого начался показ - "вам же не важен тот текст, который они произносят, вы понимаете отношения, куртуазность, то, в чем они существуют, весь двор, все окружение - интриги, кружево, порхание - и больше ничего не нужно". Еще несколько фраз, как бы нехотя - и репетиция уже закончена, задвигали стульями, зашумели, двинулись в курилку.

Его обступают несколько человек - не студентов, гостей - на комплименты отвечает раздраженно и словно издалека, из другого измерения, где свои критерии и свои горизонты.

Прошаюсь. Смотрит мимо меня. Похож на художника, отказавшегося от городской суеты продаж и заказов и живущего в другом мире. где есть земля и воздух, и эта земля и воздух - в нем самом. (Он может их дарить. Ему есть что.)

Лестница. Дворик. Спотыкаюсь о ствол срубленного тополя. Впереди - проспект Калинина.

II,

Его спектакли несовершенны. Как люди. О них хочется вспоминать, будто они - близкие, уехавшие в далекое путешествие.

(Вычеркнутые строчки из I части)

Где "Серсо"?

Что "Серсо"?

Васильеву под пятьдесят. Поставлено восемь (?) спектаклей, не всего и не уже, а просто - восемь.

"Не важно, сколько ты поставил спектаклей, важно, как ты прожил жизнь"

А. Васильев

Наконец - крыша над головой. До этого - скитания, и каждый раз как бы заново, меняя имя.

"Соло для часов с боем" - МКХАТ

"Взрослая дочь молодого человека" - театр Станиславского.

"Первый вариант Вассы Железновой" - Таганка.

"Серсо" - Таганка. Два года репетиций, подполье, естественно обрастаемое слухами.

Что "Серсо"?

Где "Серсо"?

"Серсо" играли летом 1987 года в Ленинграде. В обстановке загадочности и ажиотажа. Афиш нет, километровые очереди за билетами, давка у окошечка администратора. "Вы здесь не стояли".

Действо непонятно и престижно. Ахают, закатывают глаза и превозносят. После спектакля - овации, а во время - четыре часа пятнадцать минут - мертвый, мертвый холод в зале.

Впрочем, Мастера это, наверное, мало волнует.

Его "Серсо" - замкнутая, пленкой покрытая сфера.

Кто хочет прорваться - прорвется. Не во время спектакля, так потом, А быть может - во время, увидев сквозь веранду - напрожив, в другой половине разделенного надвое зрительного зала - живые (не пустые, не стеклянные) глаза. Так трудно...

Спектакль - испытание. Спектакль - медленный ("в эпоху быстрых темпов художник должен думать медленно"). Кто способен рвануть из суеты?) живущий зрителем, и им же убиваемый ежесекундно.

Чего стоят овации - после. И овации, и цветы - незачем.

Спектакль - взгляд Воюанда со сцены Варьете.

Не намного мы изменились. Просим хлеба и зрелищ. Пльвем по воле житейских волн. Но слышим друг друга, даже когда есть возможность. Но хлопаем и кричим "браво".

"А вы попали на "Серсо"? А мы попали..."

Попали - мимо.

Но этот остров есть.

Семь персонажей в поисках зрителя.

Ш.

ОТВЕТЫ НА НЕЗАДААННЫЕ ВОПРОСЫ. 1988 ГОД

Шлеп-шлеп. Луи. Дождь моросит. У входа в театр висят белые батоны и авоське на выступающем из стены железном штыре. Пяти ступенек нет. И колокольчик не звенит. Есть забетонированный спуск и внизу афиша Дюма с засохшим между стеклом и бумагой тараканом.

В театре предотъездная нервность. На ритмическое облако джаза наплывают церковные песнопения. Под джаз танцуют - с утра, до репетиции - разминаются, потом поют молятся на два голоса.

Висит объявление: "Веранда из "Серсо" находится по такому-то адресу". От строчек расписания черно в глазах – выходных нет, репетиции с 12 дня до 12 ночи (потом окажется, что репетиции странные, собираются, рады видеть друг друга, присматриваются, говорят о спектакле, надолго замолкают, сидят вместе молча, потом расходятся).

У портрета погибшего актера Гребенщикова у цветы, капли барабанят по подоконнику, в театре сыро, холодно. Через три дня поедут отогреваться в Западный Берлин, повезут "Серсо", "Шесть персонажей в поисках автора" и "Наблюдателя".

Ходит сторож Никита с четками.

Блестят лаком деревянные полы.

"Ради Бога, не подходите к Васильеву, не приставайте с вопросами" – это Никита.

"Можно его понять. Он уже двое суток не спал. Монтирует фильм, остальное время здесь. Он не будет с вами разговаривать" – это студент первого курса, дежурящий в театре каждый день по двенадцать часов. "Не надо с ним говорить. Сейчас расстроится, когда узнает про мою ногу, раскричится" – это актриса, у нее разрыв мениска. ждет скорую. Через неделю ей играть три спектакля на западноберлинском фестивале. (Этим же вечером она придет на репетицию, нога в гипсе, будет сидеть и слушать – молчание).

И все же, и все же – "можно задать Вам несколько вопросов?" "Я понял Вас. Подождите. Будет репетиция – садитесь, слушайте". Получилось – ответы на незаданные вопросы. Конструкция, и негибкая, но главное – за словами, а уж в каком они порядке... (Васильев на репетиции: "для меня не важно, что вы говорите, а важно как вы говорите. Слушаю, не останавливаясь на словах, слышу – мертвое, мертвое"). Итак – конструкция (- вопрос – ответ -)

Что для Вас главное в работе с актером?

Есть притча о крестьянине, который посеял в огороде что попало – редиску, свеклу, и удивляется – почему все выросло разное? Когда актеры сидят передо мной на репетиции – я же их чувствую. И если это такое поле, где все разное – не получается... Все актеры – люди, и у каждого есть свой инстинкт самосохранения. Для того, что мы делаем – нужно его преодолеть. Русский театр – театр подвижнический. Сдирать с себя кожу, не жалеть, не врать себе и другим.

Что для Вас Театр?

Для человека нет настоящего. Это надо осознать. Есть прошлое – в памяти, есть будущее – в надеждах каких-то, в предвидении и человек

существует только как связь прошлого и будущего. Тогда это высоко. Театр — два сообщающихся сосуда. Если это живо почувствовать, и не ощущать себя в настоящем "а если ощущаешь, тогда не надо театра, тогда заходишь в метро, толкаешь соседа локтем в бок и говоришь: "А ну-ка, подвинься".

Вы ставите спектакли по несколько лет...

Да, я думал, что — меня театр поэтический, а он — эпический. Эпос восстановления...

а потом репетируете уже идущие спектакли
Почему?

Актер должен не только чувствовать. Он должен уметь выразить чувство. Музыканты берут инструмент в руки каждый день. Я так думаю, что жизнь спектакля едина — в репетициях, в фантазии, на публике. Есть нюансы. А сфера спектакля одна. Можно играть друг для друга. А можно втягивать в эту сферу зрителя. Каждый раз актер говорит что-то новое другому актеру текстом пьесы, над, чтобы каждый раз было что сказать. Брать впечатления из окружающего мира и передавать спектаклю....

Театр в круге (все же, не смотря ни на что) любви. Театр, где внимательны к человеку, а не к проблеме. Театр, где умеют понять — и передать! — главное не на уровне слов. Театр, где в перерыве между репетициями говорят о спектакле и о роли.

Идет дождь.

Дай Вам Бог сил.

О Т Р Е Д А К Ц И И

19-20 ноября в Москве проходила III Конференция представителей независимых изданий. В работе конференции участвовало 58 изданий из 10 городов страны.

Основным документом, принятым на конференции, была подписанная редакторами 35 изданий (в том числе редакцией журнала "Сумерки"/. Резолюция о свободе печати.

/"Право распространять свои мнения есть неотъемлемое человеческое право. Оно не может дароваться государством и быть следствием какого-либо закона. Всякий закон о печати является попыткой нарушить это основополагающее человеческое право, зафиксированное во Всеобщей декларации прав человека и в Пакте о гражданских и политических правах. Мы отстаиваем право граждан свободно заниматься издательской деятельностью, пользоваться типографиями и множительной техникой и распространять свои издания на бесплатной или платной /кооперативной/ основе"/.

В последний день работы Конференция обратилась с письмом к А.И.Солженицыну:

"Дорогой Александр Исаевич!

Мы, участники III Конференции представителей независимых изданий, сердечно поздравляем Вас, честного писателя и мужественного человека, с 70-летием со дня рождения.

Желаем Вам долгих лет жизни на благо нашей Родины. Надеемся на публикацию всех Ваших произведений в СССР, на Ваше возвращение в Россию.

Москва, 20 ноября 1988 г.

Редакция журнала "Сумерки" выпустила приложение к 3-му номеру, посвященное дню рождения А.И.Солженицына. В I часть приложения входит подборка материалов о Солженицыне, публиковавшихся в советской прессе за период 1963-1988 гг., с комментариями и отступлениями, включающими текст письма А.А.Солженицына IV Всесоюзному съезду писателей, фрагменты главы "Архипелаг Гулаг" и статьи "Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни". II часть составляют "Крохотные рассказы".

Граф Василий Комаровский

НА ПЛОЩАДЯХ ОДНО ЛИШЬ СЛОВО - "ДАКИ"...

Гр. В.Комаровский.
Первая пристань, СПб, 1913

Н.Пунин. Памяти графа Василия
Алексеевича Комаровского /"Аполлон"
№ 6-7 1914/

С.Маковский. На Парнасе "серебря-
ного" века, Мюнхен, 1962

TOGA VIRILIS

На площадях одно лишь слово - "Даки".
 Сам Цезарь - вождь. Зброшены венки.
 Среди дворов - военные рожки,
 Сияет медь и ластятся собаки.

Я гражу наяву: идут рубаки
 И по колена тина и пески;
 Горят костры на берегу реки.
 Мы переходим брод в вечернем мраке!

Но надо ждать. Еще Домициан
 Вершит свой суд над горстью христиан.
 Бунтующих народные кварталы.

Я никогда не пробовал меча.
 Нетерпеливый, - чуял зуд плеча,
 И только вчуже сердце клокотало.

1911.

АВГУСТ

В твоём холодном сердце мудреца
 Трибун и жрец, и цензор - совместится.
 Ты Кассия заставил удавиться
 И римлянам остался за отца.

Но ты имел придворного льстеца
 Горация - и многое простится...
 И не надел, лукавая лисица,
 Ни затканых одежд, ни багреца.

Пасется вол над прахом Мецената,
 Растет трава, Но звонкая цитата
 Порою вьет лавровые венки.

Пусть глубока народная обида!
 Как мерный плеск серебряной реки -
 Твой острый слух пленяла Энеида.

1911

ж ж ж

Мы, любопытствуя, прошли дворец и своды,
Где тень внезапно леденит.
Но равнодушные бездумного народа
Их предрассудок сохранит...

Лазурная стена сияет веселее,
Чем синий, зимний небосклон.
И намерононы белеют пропилен
Беспечной четкостью колонн.

Ингерманландии окутанные дали
И елей сероватый цвет.
День этот солнечный, в котором нет печали,
Но счастья - счастья тоже нет.

И всюду важные и пышные дороги
Сплелись в себялюбивый круг
А снегом искрится и блещет скат отлогий,
Равняя озеро и луг.

Лишь ветер налетит и жжет, немного пряный,
И временами, снова злей,
Он всюду закрутит, тоскуя окаянно
Среди расчищенных аллей.

Ж Ж Ж

Устало солнце, жегшее спокойно
Полет стрекоз и зоркие труды.
И отсверкал июль рекою знойной,
Роняя недозрелые плоды
В зеленый хмель. Завянул дягиль белый,
Вливая горечь в сумрак отсырелый.
Анисовые чахли кружева...
Повсюду буйная сошла трава,
И облака, как клочья серой ваты,
Текли гурьбой в огнистые закаты.

А я следил природы поворот:
Внезапные и злые перемены,
И трепеты осин над рябью вод,
И мокрых пней зияющие тлены,
И снизу зеленеющие мхи.
Сметая горсть осенней шелухи,
Рождался ветер в холоде и буре.
Дожди шумели вновь. В овечьей шкуре
Стоял старик. И влажен был, и вял
Бесцветный взгляд. Но я таким не стал.

Я не ушел безлунною, вечерней,
Щемящею порой, утрюмый, в сад,
Где полон пруд и золота, и черни,
где гнезда разоренные висят,
И воронья гортанное стенанье.
Где обессилено припоминанье
За шумом вод, за убылью мечты.
Ноябрьским утром не вернешься ты
Над черною и гневною рекою;
С начальным ртом и тонкою рукою.

Но в яркий день, когда слепят снега,
На глянце этих прутьев рыже-красных
Стекланный мед. И бодрая нога
Хрустит поляной, белой и безгласной,
Блеснул иной, зелено-карий, взгляд.
Кругом мороз, а я гляжу назад

За розовым ее — мужицким-платьем.
 Она сурово тронет сладострастьем
 Упорного и черствого скупца.
 Она играет прелестью лица
 Веселю своей. И кровь напрасно
 Перебежит. Безлюдье. Все опасно.

1913

СЕНТЯБРЬ

Внезапной бурей растрепана рябина
 И шорохом аллея,
 Вчерашнего дождя осыпались рубины
 На изморозь полей.

И снова солнечный, холодный, и приятный,
 И день, и блеск садов.
 И легкой зелени серебряные пятна
 В прозрачности прудов.

Морского воздуха далекое дыханье
 Как ранняя весна.
 Глав позолоченных веселое сверканье.
 Безлюдье. Тишина.

Пусть это только день, и час,
 или мгновенье,
 Пусть это день один,
 И в тонком воздухе я чую дуновенье
 И холод первых льдин.

Но солнце катится, и сердце благодарно,
 В короткие часы,
 За желтый мед листвы, и полдень светозарный,
 И ясный звон косы.

Церера светлая сегодня отдала мне
 И запахи смолы,
 Все эти серые и розовые камни,
 И мокрые стволы.

Царское Село. 1912

Ж Ж Ж

Горели лета красные цветы,
 Вино в стекле синело хрупко;
 Из пламенеющего кубка
 Я пил, — покуда пела ты.

Но осени трубит и молкнет рог.
 Вокруг садов высокая ограда;
 Как много их, бредущих вдоль дорог,
 И никого из них не надо
 Надменной горечи твоих вечерних кос.
 Где ночью под ногой хрустит мороз
 И зябнут дымные посева.
 Где мутных струй ночные перепевы
 Про коченеющую грусть
 Моей любви — ты знаешь наизусть.

1912.

Ж Ж Ж

Где лики медные Тиберия и Суллы
 Напоминают мне утрюмые разгулы.
 С последним запахом последней резеды,
 Осенний тяжкий дым вошел во все сады,
 Повсюду замутил золоченные блики.
 И черных лебедей испуганные крики.
 У серых берегов открыли тонкий лед,
 Над дрожью новою темнолиловых вод,
 Гляжу: на острове посередине пруда
 Седые гарпии слетались отовсюду
 И машут крыльями. Уйти, покуда мочь?

 И тяготит меня сиреневая ночь.

1912

ЖЖЖЖЖ

Ни этот павильон хандры порфиородной
 /Предел, поставленный тоске престонародной/,
 Где сладострастие и дымчатый агат,
 А ныне - факелов потушенный обряд;
 Ни в триумфальный год воздвигнутая арка,
 Где лицемерен цвет намеренно не яркий;
 Ни гладь зеленая бесчисленных запруд.
 Ни желтый мех камней, как будто плесень руд,
 На скудном Севере далекий отблеск Рима,
 Меня не повлекут назад необоримо.

Я тоже не пойду по траурным следам,
 Где - "равнодушная к обидам и годам"
 Обманутым стихом прославленная РАСЕ^Ж
 Стоит, довольная, придворною удачей:
 Помолодеть и ей внезапно довелось!
 Отремонтирован ее "ужасный" нос
 Ремесленным резцом, и выбелены раны,
 что накатили ей холодные туманы.
 Я буду вспоминать, по-новому скупой,
 Тебя, избитую обыденной тропой.
 Сочувствием вдовы, насмешкой балагура...
 С рукой подпертою, сидящую понуро.
 Я вечер воскрешу, и поглотят меня
 Деревьев сумерки. Безумолчно звеня,
 Пускай смешается с листвою многошумной
 Гремучая струя и отдых мой бездумный.

1913 Царское Село

Нос РАСЕ, СТАТУИ В Царскосельском парке /смотри "Кипарисовый
 Ларец" И.Ф.Анненского/, приделан в июне 1913 - Прим.В.К.

Ж Ж Ж

И ты предстала мне, Флоренция,
 Как многогрешная вдова,
 Сжимающая индульгенцию,
 Закутанная в кружева.

Его костер как будто курится!
 Как будто серая зола
 Все эти своды, эти улицы
 Все эти камни обмела.

Звеня узорными уздечками,
 По ним спускался и сверкая.
 Дразня бесстыдными словечками.
 Неугомонный карнавал

И будто здесь Савонаролою
 Навеки радость проклята...
 Над мертвою Прокридой голою
 Дрожат молитвенно уста!

1913

РЫНОК

Д.Н.Кардовскому,
 на заданную им тему

Здесь груды валенок и кипы кошельков,
 И золото зеленое копчушек.
 Грибы сушеные, соленья, связки сушек.
 И постный запах теплых пирожков.

Я утром солнечным выслушивать готов
 Торговый разговор внимательных старушек:
 В расчеты тонкие копеек и осьмушек
 Так много хитрости затрачено - и слов.

Случайно вызванный на странный поединок,
 Я рифму праздную на царскосельский рынок,
 Проказницу, - недаром приволок.

Тут гомон целый день стоит, широк и гулок,
 В однообразии тупом моих прогулок,
 В пустынном городе - веселый уголок.

1911

К сумасшествию своему он относился двояко: или оп^асливо, избегая всего того, что могло хоть немножко поколебать его очень шаткое нервное равновесие, и в то же время бесстрашно: много думал и даже писал свои воспоминания о своих сумасшествиях. Из воспоминаний этих я запомнил одну фразу: "Несколько раз сходил с ума и каждый раз думал, что умер: когда умру, вероятно, буду думать, что сошел с ума". Он умер сумасшедшим. Начало войны нанесло такой удар его нервной системе, что она не вынесла, и все силы хаоса снова хлынули на него и затопили уже навсегда. В последний раз я его видел перед моим отъездом в действующую армию. Он был в состоянии крайнего возбуждения: был обеспокоен мыслью, у кого из знакомых скорее всего найдет охотничье ружье: он хотел идти защищать Петербург в случае немецкого десанта. Последние его стихи, оставшиеся в черновой тетради, написаны еще до начала военных тревог. Это был тот памятный исключительно жаркий июль, о котором Анна Ахматова, новая Кассандра, написала такие страшные пророческие стихи:

Июль был яростный и пыльно-бирюзовый,
Сегодня целый день я слышу из окна
Дождя осеннего пленительные зовы;

Сегодня целый день и запахи земли
Волнуют душу мне томительно и сладко,
И, если дни мои еще вчера текли
В однообразии порядка...^ж

"Однообразие порядка" нарушилось, и через несколько недель его не стало.

Кн. Д. Святополк-Мирский /1924/

^ж Ошибка мемуариста: это последнее стихотворение гр. В. Комаровского

- Дорогой, пора!
- Да... Вы думаете?

Уже через час приблизительно В.А. был доставлен по указанному адресу. Больше я его не видел, а через несколько дней лечебница сообщила, что больной умер в буйном припадке /разорвав на мелкие клочья все, что попало ему под руку/.

Сергей Маковский

О Т В Е Т

Гр. В.А. Комаровскому

Какие странные слова
Принес мне тихий день апреля.
Ты знал, во мне еще жива
Страстная страшная неделя.

Я не слыхала звонов тех,
Что плавали в лазури чистой.
Семь дней звучал то медный смех,
То плач струился серебристый.

А я, закрыла лицо мое,
Как перед вечною разлукой,
Лежала и ждала ее,
Еще не названную мукой.

Анна Ахматова

Весна 1914
Царское Село

ПАМЯТИ ГРАФА Василия Алексеевича КОМАРОВСКОГО

За эти дни так часто и с такой однообразной настойчивостью слышим мы о смерти в бою, что другого рода смерть, казалось, была невозможна, словно для нее уже не осталось скорби, и нет больше цветов для иных могил, кроме братских. Мы ошиблись. Внезапно отлетела от земли душа, полная жизни, мужественная, окрыленная, великолепная, одна из тех душ, которым удивляешься, никогда, в сущности, их не понимая. 8 сентября в Москве окончался граф Василий Алексеевич Комаровский. Родился, чтобы оказать два-три слова, сделать жест, и ушел, унося с собою тайну своего духа и своей мысли. Тому, кто его слышал чаще, кто видел больше, он оставил чувство недоумения, близкое к тоске, и какую глубокую и упорную уверенность в том, что из всего, произнесенного или сделанного им, — смерть сказала большее, договорила недосказанное, объяснила то, что казалось непонятным, но она же и лишила нас возможности раскрыть тайну его организма, его творчества, тайну, о которой мы все знали и не догадывались в одно и то же время. Теперь мы уже, наверное, не раскроем этой тайны никогда; на нашу долю остались лишь отрывочные и странные воспоминания, которым смерть сообщила горькую остроту.

Он был необыкновенная — этот веселый иронист и романтик, высокий, широкоплечий, сутуловатый, одиноко бродивший по Царскосельскому парку с тростью в кармане и завернутыми брюками. Он врвался в нашу жизнь, внося каждый раз тревогу, смятение, страх — мысль о бессмертной ночи, о планетах, о глубине земли, где переливаются густые питательные соки, о темной глубине души, откуда выросло его искусство, неожиданное, растрепанное, полное какой-то настойчивой воли и смятенного величия; он приходил, принося вместе со свежестью весеннего или зимнего воздуха свежесть только что родившейся в его мозгу мысли, которую он вынашивал, перебирал на все лады, внушал, навязывал тем, кто имел хоть некоторую охоту его слушать. Он говорил стихи своим гортанным голосом, перебивая их естественный ритм, следуя какому-то своему, особенному стихосложению; привязывался к словам, поднимая при этом руку, словно он измерял их вес и их емкость. Всегда неожиданный, но всегда чужой.

Было трудно следить за ходом его мысли и невозможно погружаться вместе с ним в то темное, шевелящееся и земное, что наполняло его душу, излучавшую с такой силой нервную энергию, что ста-

новилось страшно. Спорить с ним было бесполезно: он уходил в какие-то леса образов, ссылаясь на римских императоров, кардиналов, философов или поэтов, — и в конце концов мы замолкали, убежденные доводами, имевшими большую силу, чем все классические силлогизмы. Фантазия, которая имела способность находить для своих ирреальных идей слишком вещественную форму, логика, которая связывает посылки с выводами лишь ассоциацией идей и форм, возбуждение, которое само себя питает, — мы узнали все это, встречая его, слушая или читая.

Искусство было его колыбелью и его жизнью. Сборник стихов, который он издал год тому назад, конечно, почти не был замечен. Те, которые любят меланхолическое волнение сумерек и грусть "о несбыточном", находили эти стихи слишком сухими; тем, которые требуют от поэта четкой структуры, классического синтаксиса и добрых традиций, они показались дилетантскими, неумелыми или безумными; некоторые находили их банальными, с обычными стремлениями и стилизму; толпа не читала их совсем. И этот сборник остался как одинокий цветок, согретый лишь молодым дыханием Музы. Есть, конечно, в этих стихах один довольно существенный недостаток — оригинальность... Говорят, книга, обладающие таким свойством, вообще не имеют сбыта; может быть но какое до этого дело поэзии, поэзии, которая родилась во тьме, вскормленная сомнениями, горечью наследственного опыта, которую баюкала красота и для которой форма была вожаденной гостьюей.

Творчество — разве это только акт вопрошения, методическое, внимательное, неустанное искание слова, гласной, перебора? — нет, конечно. Творчество — это прочитанная книга, разговор, откровение, любовь, ветка над головой, эмаль неба или облака, смутная тревога, скука, — все, что плодится, умирает, растет в душе: все это — творчество, если, конечно, природа одарила организм способностью воплощать. Утверждающие, будто поэты, художники, музыканты — уроды и выродки, не совсем ошибаются: творческий организм всегда насыщен чем-то, делающим его неудобным для жизни, слишком мечтательным или слишком жестоким, навязчивым, эгоистичным и странным. Люди этого не выносят или выносят плохо, они говорят в таких случаях: оригинальность!

Сборник стихов г-ра Комаровского имеет полное основание получить столь лестное наименование. Стихи, собранные в книжке "Первая пристань", написаны в период 1903—1913 годов. Они разнообразны по содержанию и по стилю, ритмическая форма их, в общем, обыч-

на. Чтобы полюбить эти стихи — их надо читать, внимать им, изучать, повторяя время от времени, может быть, даже — слышать их от самого автора; над ними, правда, нельзя плакать, но им невозможно не удивляться.

Им следует удивляться по-разному. Есть строфы, написанные лишь с целью внушить чувство эпохи, стиля, научить иронии, — они прекрасны; другие волнуют, как лирика, но это совсем не лирика. Первые рождены и вскормлены какой-то тонкой и добродушной иронией ветерана, видевшего собственными глазами римских императоров; отцом вторых был... — я не знаю его имени у дух темный, стравленный, надломленный, но героический, упадающий, но не покорный, нежный, мечтательный и капризный, но совсем не женственный. Он присутствует в этих стихах где-то внутри, шевеля слова, гласные, рифму; при первом чтении его не замечаешь, только чувствуешь; потом долетает какой-то гул, как подземный удар; в конце концов, его находишь везде, узнаешь в каждом слове, в любом обороте, Зачем было нужно его так тщательно скрывать? Перечтите несколько страниц, — какое количество ухищрений в подборе образцов и в стиле, сколько светлых метафор, сколько веселости, — и это все для того, чтобы не дать возможности пробиться ему, темному и хитрому, чтобы его смирить, сделать ручным; его и ласкают, как звери, хлещут, когда он упрямится, с ним хитрит, если он становится слишком разъяренным.

Несколько скандированных строк — вот свидетели этой страшной борьбы, которая сообщила жизни трагичность и таинственность, сделав ее, однако, прекрасной; но такие же строки говорят о том, что эта подсознательная сила вырывала время от времени у слов, идей, и ощущений их стойкое мужество, заставляя говорить согласно своим законам логики, красоты, жизни. Тогда раздавались строфы, где перепутаны части речи, где точки заменяют собой целые фразы, где ассоциация перебрасывает мысль через огромные пространства и где нафос, подобно морю, несет стих на своих мрачных волнах. Вот образец этой поэзии, совершенный, подлинный, бессмертный.

Над городом, гранитным и старинным,
Сияла ночь - первоначальный Дым.
Почила Ночь над этим пиром винным,
Над этим пиром огненно-седым.

Почила Мать. Где перелетом жадным
Слетались сны на брачный кипарис -
Она струилась в Царстве Семиградном
В зиянии ледяных и темных риз!

И сны ее. Но мудрости могильной
Вкусивший тлен. И радость звонких жал?
Я трепетал, могущий и бессильный,
Я трепетал и пел, и трепетал.

1911

Другого образца русской поэзии, где было бы столько смятенного величия и безумия, я не знал... И я не узнаю больше! Смерть сделала каменной руку, оборвала жизнь, расцвета которой мы ждали с таким вниманием. Судьба скупа на прекрасное. Она жестока также, ибо лишила крови сердца, полное благородной сдержанности и исключительной доброты, - об этом свидетельствуем мы, современники, - она унесла от нас друга, чье внимание, чье живое участие мы испытывали всегда и чьи беседы для нас незабвенны - впрочем, это касается лишь нас одних...

Живому и прекрасному гению - бессмертие, товарищу - нашу благодарность, другу - нашу человеческую скорбь. Этот венок возлагаем мы на могилу, которая скрыла от нас только то, что было тленно, так как бессмертное не может скрыть даже земля...

Николай Пунин. 1914

Борис ВАХТИН

АБАКАСОВ - УДИВЛЕННЫЕ ГЛАЗА

"Три повести с тремя эпилогами
/а, может быть, одна поэма/",
повесть третья.

Первая и вторая части трилогии:
"Летчик Тютчев, испытатель" и
"Ванька Каин" - "Сумерки" № 1,2.

В следующем номере журнала редак-
ция предполагает поместить статью
о творчестве Бориса Борисовича Вахтина.

I

Здравствуйте, Абакасов и все вы

И вот из тютчевского двора и каинского переуллка нашего великого города я выхожу наконец на улицу, а на улице светло и пусто, как на тихом севере. В одном конце этой улицы площадь, на площади колонна, а на колонне падает ангел — падает, падает, и не может упасть, потому что ему не дано. И вдоль улицы навстречу мне идет человечек с запрокинутой головой, одетый в черную тройку.

Здравствуйте, Абакасов!

Он идет по мостовой, неся в руке старомодную шляпу, идет, глядя прямо перед собой и чуть-чуть вверх.

Он идет к другому концу этой недолгой улицы — а там поле и сад, и цветет сирень, и сияют шпильи слева и справа, а посреди поля лежат могильные камни, положив подбородки на грубые ладони.

На улице этой светло и пусто, но вот из двора, из темной его глубины выходит женщина, прекрасная и стройная, как гречанка, и идет, шурша легким платьем, вслед за человечком с запрокинутой головой.

Здравствуйте, не знаю, как вас зовут.

И еще выходят на эту улицу люди: тридцатилетняя, спелая Елена Петровна, научный работник без особых перспектив; Витя и Вова, похожие как близнецы, с бесконечными разговорами про ни про что; старый скульптор Щемиллов с голосом — орлиным клекомом; студент Петя, весь в мыслях, как дикообраз в иглах; и еще одна женщина, белокурая и нежная; и с нею почти совсем еще мальчик; и безразличный гражданин, серый как моль, хоть и в ярко-зеленой велюровой шляпе.

Здравствуйте, все вы! Здравствуйте, здравствуйте!

А в конце улицы площадь и колонна, с которой падает ангел и не может упасть, потому что ему не судьба. А на другом конце — поле с кладбищем, и там распростерлись на земле могильные камни.

И я тоже выхожу на эту улицу.

2.

Абакасов в ожидании дел своих

В нем было высокое напряжение человека, маленького ростом, в также широкий диапазон нишего, когда он, например, спал раскидисто, как сейчас.

За окном труба на мауэре — не круглая труба, а прямо-угольная, похожая на челюсть, осветилась сзади, и солнце встало — солнце счастливого будущего.

Левый глаз не открывался, чтобы досмотреть сон с чрезвычайным для холостяка содержанием — на белой лестнице сидела незнакомка, черноволосая и стройная, и красивая, как во сне, и она встала ему навстречу, как взлетела — глазами, не руками, и в этих глазах был он — разумеется, великий в жизни, как никто, и к тому же раз и навсегда. Но правый глаз уже видел, что это только сон, потому что видел уже абажур настольной лампы, разрисованный неизвестным художником под скалу девонского периода.

Время шло под его окном уверенным шагом и он встал навстречу ему, выпил стакан холодной воды и стал готовиться ко всему, что было еще впереди, смутное, как рассвет.

Он готовился. Он не побрился, как люди — он приобрел стройность лица, и не оделся, как прочие — он облачился в доспехи, чтобы встать на пост жизни в боевой готовности.

Ведь все могло быть в этот день — вдруг от него потребуются решить, наконец, мгновенно судьбу всего человечества перед лицом, например, несчастного случая, и он, хмуря брови, сосредоточенно повязал галстук и пошел на службу, переходя каждую улицу, как Рубикон.

И первая половина его дня начала уходить в песок, когда он хлопотал на службе в архиве, где служил. А потом была вторая половина его дня и она уходила в небо, когда он думал, разговаривая сам с собой молча или вслух и ожидая подвига.

И жизнь его, из двух половинок составленная, как фасожина, уносила росток свой в землю и унесла бы незаметно и без остатка, растворившись в русской почве, как и все мы растворимся — потому что, вопреки чувству, будто это не может быть и что счет идет на единицы, он, этот счет, идет на большие числа, до миллиардов включительно, — если бы не кое-какие встречи, поступки его и слова, которым вот суждено остаться. Конечно, все это пустяки в наши дни, дни счастливого будущего, но суждено.

Все поступки ваши подвиг, о, Абакасов.

Вот и сегодня вечером вы совершили один из них, приготавливая на общей кухне яичницу и объясняя соседке по квартире, Елене Петровне, про мироздание.

В центре находимся мы с вами, — говорили вы, высоко поднимая локти, и из разломанной скорлупы падало содержимое, как бомба из

самолета. — А вокруг вас, уходя в возможную бесконечность, звезды, и это важно и далеко еще не постигнуто.

А Елена Петровна смотрела на вас, как курица на зерно, как провинциалка на витрину универмага "Пассаж", и лицо ее гордилось цветом кожи, а фигура ее, все-таки полная от научной работы, колебалась в воздухе неопределенно, напоминая о многих и сильных переживаниях еще со студенческих лет.

— И не постигнуто, и ответственно, — говорил Абакасов, отскакивая от сковородки, стреляющей маслом.

— Нет, я не могла бы быть вашей женой, Абакасов, — говорила Елена Петровна.

А студент Петя, третий их сосед по этой небольшой квартире, говорил, прислонясь к косяку кухонной двери:

— А я бы мог, извините меня, конечно.

И Абакасов гордо уносил яичницу в свою комнату, совершенно не понимая в женщинах и в тонких путях их мыслей.

Разве это не подвиг, такой вот разговор во время приготовления яичницы?

3.

А на работе в перекур и после

Такие огромные сослуживцы у Абакасова, ну, как циклопы, и даже еще страшнее — когда они выходят покурить, например. Он тоже выходит, ошарен от архивной пыли и, некуда деваться, стоит с ними, делая вид, что курит, а сам наберет дыму в рот и выпустит, только бы не проглотить. А огромные коллеги, от которых разит мужеством и правдой жизни, в нечистых рубашках, нечесанные, с толстыми тридцатилетними мордами, не выбритыми, как полагается, грохочут где-то над ним самоуверенными голосами, и клубы дыма и огня исторгают их рты.

Абакасов осторожно вдыхает дым.

— Три поллитры на двоих, — грохочет над ним вулкан по имени Вова, смесь кровей южных, нездешних.

— Без закуски? — сотрясается коллега Витя, рубашка которого на животе всегда расходится, обнаруживая зеленый треугольник майки.

— А у меня беда в том, — говорит Витя, — что в плохой женщине я ищу найти хорошую женщину, а в хорошей женщине — плохую женщину, понимаешь? В сексуальном аспекте, понимаешь?

— В сексуальном аспекте понимаю, — говорит Ваня, — но зараба-

тываем мы мало, вот в чем дело.

Скришки поют далеко, не здесь, и в них **нельзя** Абакасову вслушиваться сейчас, потому что сейчас ему нужно бесстрашно стоять. Ему нельзя сробеть, он держится на тоненькой **ниточке** своего бесстрашия, иначе, он чувствует, циклопы сорвутся с цепи и растерзают его, и **ему** надо быть начеку. Ему, ему вести их всех, когда пробьет его час, вести туда, где поют скришки и тополиный пух летает над полями, чтобы там они в белоснежных рубашках, только что от парихмахера, с нежными улыбками на тридцатилетних лицах мирно любовались бы небесами, а Абакасов с умилением глядел бы на дело своих рук, вот только придется немного обождать, немного бесстрашно постоять.

А после работы, покинув архив, Абакасов делает крюк, чтобы пройти мимо любимого своего места, где у него каждый день свидание с графом Александром Васильевичем Суворовым-Рымникским. Маленький граф стоит прекрасный, как Аполлон, на своем постаменте, такой похожий на Абакасова в своем окаменелом мужестве, при мече, щите и в шлеме, гордо выставив ногу, герой Тиддоны и Требии, Измаили и Сен-Готерда, а такой шустрый был человек в жизни. Абакасов незаметно кланяется ему, и граф приветливо кивает головой, и Абакасов повеселев идет домой, чтобы там открывать умные книги и атласы мира и звездного неба и делать необходимые в будущем выписки, чтобы понять вселенную до последнего звена прежде чем до последнего вздоха вести всех туда, куда надо.

А, может быть, он и умрет на пороге туда, но разве **это** страшно, если на пороге? И Витя, и Вова, и другие завернут его в красное знамя, чтобы внести его тело туда.

Однажды, после свидания с графом, навстречу Абакасову попался человек-орел — в одной его руке, откинутой назад, была черная многократно продырявленная шляпа, в другой черная палка. Человек смотрел ему вслед внимательно, приветливо помахал шляпой и громко сказал:

— Хоу-хоу!

— Здравствуйте, — сказал Абакасов.

Человек подошел к Абакасову и сказал, перехватывая палку в левую руку и протягивая правую:

— Позвольте представиться — Щемиллов.

Так влетел в жизнь Абакасова этот смуглый скульптор и свил в ней последнее гнездо.

4.

Детство Абакасова

Темносерый сундук с бронзовыми ребрами, а в сундуке запах ветхой прекрасной жизни — и лучезарный атлас, и страусовые перья, и меховая горжетка в бриллиантах нафталина — этот сундук плыл по детству Абакасова, как Ноев ковчег, а квартира кишела старыми дворянками, чьи мужья с подобающей честью лишились жизни — кто у Деникина, кто у Врангеля, кто на Соловках. И все дворянки были бабушками и тетюшками Абакасова, а отца и матери у него не было — они сгнули под испуганный шепот этих вот старух, не оставив в памяти Абакасова ни следа, ни черточки никакой, туда сгнули, откуда только немногие вернулись, а они не вернулись, хоть и были посмертно реабилитированы.

А что это значит? Да ничего не значит, просто слова такие дурацкие. Все мы будем именно посмертно и именно реабилитированы, так что из этих дурацких слов получается только один здравый смысл, что не надо бояться **ничего на СВЕТЕ**, поскольку посмертно все будет хорошо.

— У тебя посмертно все хорошо?

— Все в порядке посмертно. А у тебя?

— И у меня посмертно ничего.

Но все эти исторические тонкости не были тогда Абакасову известны, и он снимал крышку с сундука, переворачивал ее и, влезши в нее, раскачивал и плыл бесстрашно по морям и волнам к неизвестным берегам, где горел для него огонь особенной страны, смутной в воображении, но целиком своей. Когда удавалось Абакасову совершить переворот крышки вечером, в темноте и одиночестве, пока бабушки и тетки обсуждали испанские события на французском языке, тогда зажигал он елочную красную свечу, прилепив ее к борту, и путь его озарялся.

А днем во дворе у тополя среди сверстников или в классе школы или в кругу старух два чувства, как два крыла, были у него главными и несли его — не в полете, конечно, но несли по жизни. Жука ему было жаль, как самого себя, если жука он видел не в добром здравии, и воробья, если воробью было холодно, и сверстника, если тот плакал, и старших, если они умирали. И всего было страшно — шагнуть в темноте было страшно, потому что встанет ли нога на твердую землю? и поздно заснуть было страшно — что будет завтра, если не выспишься? и подраться было страшно — вдруг останешься без глаза из-за драки? и боли было страшно — что такое очень сильная

боль неизвестно ведь? и вообще всего неизвестного было страшно.

Так жил он в квартире, где самая молодая его бабушка мыла полы, напевая песенку, или мыла посуду, напевая ту же песенку, или штопала чулки Абакасова под эту песенку:

Фрэрэ Жакэ, фрэрэ Жакэ,
Дормэ ву, дормэ ву?
Сонэ ля матинэ, сонэ ля матинэ -
Дин-дон-дон, дин-дон-дон

Эта песенка, выученная в Смольном институте благородных девиц, с успехом заменяла ей "Чижика-пыхика" и была единственной песенкой, мотив которой самая молодая бабушка напевала, почти не фальшивя.

5.

Детство Абакасова продолжается

Два чувства, как два крыла, были за спиной у первокласника по фамилии Абакасова, и в этот день они пересеклись крестообразно, и надо было решить, которое главное, и на всю жизнь избрать путь рыцарства или уж никак не рыцарства, но он всего этого не разумел, а играл с удовольствием в подкидного дурака с молодой бабушкой и двумя гостями, приехавшими накануне из Старого Оскола - рыжей громадной тетушкой, имевшей лицо в оспинах и низкий бас, и ее племянницей, тщедушной восьмилетней девочкой, обладавшей лисьей мордочкой и плаксивым голосом, но для Абакасова все равно радость и новизна.

Они играли с девочкой против старших.

За завтраком у девочки были заплаканные глаза, а из-за двери, за которой они с тетушкой спали, слышал Абакасов перед завтраком раскаты рыжего баса и плаксивые всхлипывания девочки. А сейчас они играли и им везло неслыханно, сдачу за сдачей. Они били все карты, а бабушка и тетушка все карты принимали, и в руках у них эти карты не помещались, и они проигрывали раз за разом, и это было очень весело, и Абакасов с девочкой вошли в азарт и хохотали до упаду, когда бабушка и тетушка тащили кучу карт.

- У тебя есть девятки? - кричал Абакасов девочке.

- Есть! - кричала девочка и шлепала на стол сразу две.

- Я нашел! - кричал Абакасов.

- И я! - кричала девочка.

И в разгар веселья и общего румянца, когда молодая бабушка, добродушно улыбаясь, тасовала карты, рыжая громадина строго ска-

зала племяннице:

- Ты не думай, что я забыла.

- Да ладно, - отмахнулась та. - Не надо сейчас.

- Не сейчас, а вечером, как я тебе и сказала, - бесповоротно произнесла тетушка.

- Что вечером? - спросила молодая бабушка, а рыжая тетушка ответила ей по-французски, и бабушка перестала тасовать и жалобно заговорила тоже по-французски, и Абакасов все понял и сердце его умерло от ужаса. Его-то никто пальцем не трогал никогда и он только читал о таком, и все это было невозможно, а невозможнее всего, что девочка сейчас смеялась, словно об этом и не думала. Может, это одни взрослые слова, страху ради? Но тетушка резко оборвала бабушку, и голос ее при этом был полон решительности и воли и не оставлял надежды.

Играть Абакасов еще играл, но уже без смеха, да и карта перестала идти, и девочка сердилась и топала ногами и говорила дерзости старшим.

Весь день потом Абакасов блуждал по квартире, а перед вечером уткнулся в ногу молодой бабушке и горьке заплакал.

- Что с тобой? - спросила бабушка, но Абакасов только мотал головой и плакал.

- Ты наверно вспомнил маму и папу? - спросила бабушка, и Абакасов утвердительно кивнул головой, потому что не сказать ему было даже себе, отчего он плачет.

Наступил вечер, и жалость в сердце Абакасова стала невозможно большой. И он принял решение. За ужином есть он не мог - так у него колотилось сердце, что еде было не пройти по горлу. Но он отсидел, маленький и прямой, весь ужин и почти не отводил глаз от рыжего беспощадного чудовища. Когда вставали из-за стола, рыжая тетушка крепко взяла племянницу за руку и повела прочь.

- Пойдем погуляем перед сном, - сказала молодая бабушка Абакасову, но он выскочил из-за стола, выхватил кочергу, заранее спрятанную им под шкафом, размахнулся ею и изо всех сил ударил рыжую тетушку по правой руке повыше локтя, а потом провалился в преисподнюю, в ужас и темноту, в крики, охи и плачи, провалился, будто умер.

6.

Детство Абакасова кончилось

Много дней лежал Абакасов после случившегося, а рыжая тетушка с рукой в гипсе и громыханиями в голосе уехала навсегда. Врачи-невропатологи и врачи-психиатры объяснили поступок Абакасова на ученый манер, как нервный припадок на почве тоски по родителям, как перепад подсознательного в агрессивное сверхознание со случайным объектом, и прописали покой и внимание. Они-то не знали, что Абакасов понимал по-французски, хотя ему неприятно было слушать эту речь в квартире, а тем более на улице, и он никому не показывал своего **ПОНИМАНИЯ**.

Сейчас он лежал, здоровый и притихший, окруженный вниманием, не говоря ни слова. Первые дни лежания прошли во внутренней маяте, а потом его смятение растворилось в белых простынях, и простыни разгладились, и стало хорошо ему, в особенности на рассвете, когда все спали, когда была тишина с немногими ночными шорохами и темнота с чуть-чуть света. В эти часы Абакасов смотрел в темноту и смутно видел спинку кровати с металлическими шариками, темные объемы тяжелого шкафа, голландской печи, стола, икон в углу и всего прочего, среди чего он привык жить. Шарик можно было свинчивать, чтобы играть, но это днем, а не сейчас. Сейчас лежалось ему тихо-тихо, словно он ходил по этому миру на цыпочках и осторожно трогал его руками и гладил, как кошку, и мир был добр и разговорчив, и не было в нем страха и ничего такого, чтобы задыхаться от жалости.

А днем можно было путешествовать по узорам обоев, как по морям и странам, и рассказывать самому себе про свои личные всевозможные приключения.

Это случилось на рассвете, в часы тишины, когда Абакасов смотрел в окно. Перед этим ему что-то такое приснилось, совсем особенное, чего никогда не снилось, только он не мог вспомнить, что такое именно, и только сохранилась радость и волнение где-то в солнечном сплетении и от этой радости было не освободиться никак, ну, совершенно невозможно — она подступала к горлу, готовая вот-вот выплеснуться, вырваться, но нет, снова отливала и жила некоторое время под нижними ребрами, а потом опять начинала kloкотать в горле. И вот в такое мгновение, когда радость душила Абакасова самым сильным образом, окно, на которое он смотрел, внезапно озарилось трепетным зеленым светом, и от света стало в комнате все видно совсем ясно — заблестели шарики на спинке кровати, осветился

шкаф, дверца которого, оказывается, была приоткрыта, а за дверцей стояли тарелки высокой стопой, стало видно, что у стола четыре граненные ножки, на иконах засверкали ризы, и многие предметы в комнате стали отбрасывать тени, и тени эти дрожали, как и деленный свет в окне, перемещались, то густели, то бледнели, и от этого трепета и тепла маленький Абакасов пришел в такой восторг, что даже приподнялся на постели навстречу зеленому дрожашему чуду, которое прекратилось вдруг — тени рванулись, метнувшись к стене, и снова стало темно.

Абакасов не сводил глаз с окна и ждал повторения. И вот зеленый свет снова вспыхнул в окне и полился в комнату и в сердце Абакасову теперь уже не как случайность, а повторением, удвоенным и потому надежным чудом, чудом, на которое можно положиться. Абакасов вскочил на колени, схватился руками за сияющую спинку кровати и, не выдержав, закричал от восторга, и радость брызнула из него, как кровь.

На этом новорожденном крике кончилось детство Абакасова, кончилось по существу, хотя еще продолжалось формально посредством роста, учебы и накопления опыта. Но по существу-то оно кончилось, потому что самое главное в его жизни стало находиться в прошлом, и это главное он нес теперь с собой, чтобы самому когда-нибудь вспыхнуть так же ярко и трепетно, таким же бесстрашным чудом.

Как это у него получится на деле? Сумеет ли он, этот маленький человечек, идущий в школу по мостовой, с портфелем в руке, с завязанными под подбородком тесемками шапки-ушанки, идущий среди великого множества других людей всевозможного возраста и бесчисленных жизненных целей, таких деловых по утрам людей — работников прилавков и научных институтов, электромонтеров и парихмахеров, шоферов и инкассаторов, бухгалтеров и сталеваров, официантов и офицеров? Идущих по той же самой мостовой исторического прогресса, что и он, дышащих влажным и грязным воздухом, отстоявшимся среди стен городских? Идущих, чтобы делать в жизни свое дело и зарабатывать на прокорм души, чтобы переживать разнообразный океан своей деятельности, включая движения ног, рук и туловища, движения глаз и языка во рту, включая густую сеть взаимоотношений, наброшенную на весь этот океан — рукопожатия и объятия, хитрости и низости, глупости и тупости, радости и гадости, пакости и святости и все такое прочее?

Как у него получится на самом деле, у него, такого маленького? Такого вот несоизмеримого рядом даже с уличным фонарем, а ведь

уличный фонарь как произведение рук человеческих, даже он это не так-то просто.

Уличный фонарь это плод цивилизации на высокой ступени ее развития и многие гении рода человеческого причастны к его воплощению в натуре. Эти оветильники стройными рядами освещают согласованно городские пути, внося порядок в движение и мешая преступности замечать следы. Эти журавлиные шеи с желтыми жемчужинами в клюве, эти пики, с насаженными на них светлыми головами, эти железные желтоглазые циклопы, эти, попросту говоря, фонари, были бы достойны гимна, если бы не то обстоятельство, что они слишком напоминают, если взглянуть высоко сверху, погребальные процессии ночью, в которых двумя рядами несут горящие свечи, и если взглянуть совсем уже сверху на город ночью, то слишком уж много таких процессий, бредущих во всех направлениях. Вот почему и милее для взора Абакасов, хотя он и мал по сравнению с фонарем и хотя гении рода человеческого непричастны к его сотворению.

7.

Белокурая и хрупкая

В самой ранней молодости Абакасов был такой же, как и сейчас в возрасте гораздо более чем тридцать. Такой же не в каком-то отдельном смысле, скажем, гордости роста или заботы о наружности, а во всех смыслах, ну просто совсем и в точности такой же — и волосы такие же, и мысли, и походка и даже привычка говорить немного хмурясь и как бы в сторону, только иногда взглядывая собеседнику прямо в глаза на каком-нибудь своем незначительном слове, чтобы удивиться, что собеседник не потерялся и слово это услышал и понял.

Каждому мужчине, даже совсем никудышнему, хоть в своих глазах, хоть на самом деле, выпадает в жизни, пусть один-единственный раз, но выпадает обязательно быть предметом великой любви. Бывает, конечно, что ему и невдомек, и после смерти, представ перед всевышним, слышит он от всевышнего эту новость в упрек: "Что, проморгал?" И приходится ему отвечать: "Да, проморгал, господи" и отправляться на вечные муки вместе с той, что избрала его для великой любви — он за то, что, вот, проморгал, а она — что, вот, позволила проморгать. Так что смотри внимательно и будь бдителен, особенно в молодости, чтобы не прозевать, когда свалится на тебя великая любовь женщины, потому что без нее ты никогда ясно не поймешь, почему ты царь природы, и всевышний будет, получается, прав, казня тебя за недопонимание.

Примерно таким вот образом объясняла Абакасову что и почему случайная знакомая его ранней молодости, поселившаяся летом в доме по соседству в дачной местности. Она подходила для этих объяснений к забору со своей стороны, а студент Абакасов лежал на одеяле у забора со своей стороны, делая выписки из груды умных книжек, потому что он был и тогда такой же, как сейчас, и его не интересовало отвлекаться подобно другим студентам на любовь, туризм и вообще пустые дела.

По молодости, а, может, и по ослепленности, знакомая не объяснила Абакасову, что и самому полезно испытать великую любовь к кому-нибудь, что без этого ты не поймешь, почему ты раб природы и что-настоящий свет в окошке и где вообще это окошко. Но своего она добила, невозможно себе, правда, представить как, но добила, и когда Абакасов держал в руках ее, белокурую и хрупкую, то первый и последний раз в жизни ощущал себя не только царем природы, но совершенно наглядно убеждался, какие у него большие руки и широкая грудь, какой он, оказывается, по сравнению с ней, ну просто Голиаф.

Лето подходило к концу, и Абакасов обнаружил, как мало книг прочитано и вспотел от стыда. Бездна мешанского счастья разверзлась у него под ногами, грозя гибелью необходимым подвигам на пути целеустремленной жизни, и он с удивлением посмотрел на свою подругу.

И тогда он сурово сказал ей, что больше никогда не хочет ее видеть, потому что имеет в жизни предназначение и не личное счастье — цель его.

И белокурая и хрупкая ответила ему, что она любит и его, и его предназначение и что он никогда больше ее не увидит, хотя она до конца своих дней будет любить его прежней любовью.

Абакасов, конечно, часто вспоминал ее, но думал, что когда цель его жизни будет достигнута, у него много будет такого вот, когда он Голиаф.

8.

Синяя Борода и красная стена

Не знаю, как насчет истории всего человечества, но история отдельных людей почти всегда обман, а также клевета — тоже почти всегда.

Вот, например, Синяя Борода. Это был прекрасный, тонкий человек, возможно, с Востока, экземпляр, встречающийся редко, как я сейчас объясню. Полюбив женщину и отнесясь к своей любви серьезно,

он, этот самый человек, отвергал любовь как войну и устремлялся основать ее на доверии и искренности, предлагая жене игнорировать прошлое и начать жизнь сначала – от именно их любви. И этот чистый человек открыто вручал ей ключи от всего, что имел, включая прошлое, а сам удалялся тихонько, с умилением ожидая ответного благородства. Но ему не везло, и женщина творила предательство, залезая в его прошлое и совершая великое поругание доверия, и начиная войну, и разрушая чудо мирной любви. И несмываемое пятно оставалось на ключе в прошлое, и, спасая веру в любовь, Синяя Борода поражал зло обнаженным мечом, справедливо не веря слезам падшей и ее мольбам, порожденным не любовью, а только страхом. Снова отправлялся святой человек с открытым сердцем на поиски чуда и снова ему не везло, так что в итоге появились некие якобы братья – знаем мы таких братьев! – и убили невинного страдальца, захватили его помещение и устроили там бог знает что. А его на веки вечные оклеветали и сделали пугалом для детей вместо образца, пользуясь влиянием женщин в качестве матерей и нянь.

Говорят, это сказка. Ничего себе сказочка! Волосы встают дыбом, что про все на свете и про тебя тоже могут сочинить тоже эдакую сказочку.

У красной стены из кирпича с мокрой тряпкой в руках задумчиво стоял Абакасов, имея такой вид, словно внутри у него болело. Потом он вздохнул, выдохнул разом воздух и стал остервенело тереть стену. Сверху вниз, сверху вниз, до самой земли. Он тер и тер, и утомился, и опустились руки его.

– Зачем вы здесь? – спросила Елена Петровна, проходя домой по этому переулку.

– Слишком красная эта стена, – сказал Абакасов хмуро.

– Пойдемте отсюда, – сказала Елена Петровна, беря его не под руку с тряпкой, а под другую.

Они пошли прочь, а протертые кирпичи посвежели и совсем уже зазелели, как и должно было стать в результате такого неосмысленного занятия.

Абакасов оглянулся на стену и сказал:

– Надо перекрасить.

– Вы чудак, – сказала Елена Петровна.

– Не думаю, – сказал Абакасов, – Пожалуй, совсем нет.

– Совсем да, – сказала Елена Петровна.

В комнате Елены Петровны сидело много народу, сплошь мужчины, и смотрели телевизор. Голубые люди в старинных костюмах рубили,

травили, резали друг друга, раздирая дрожащий экран перекошенными лицами и трагическими словами, потому что это был Шекспир, и голубое мерцание лилось, как волны, в полумрак комнаты, наполняя ее электричеством и кровью. В голубом потоке белели полные руки Елены Петровны и жаркой медью отливали лица мужчин. А потом на экране все уменьшалось чрезвычайно, и вдали копошились, утомляясь, умирающие, и под трубный глас вошел к ним кто-то новый и свежий, чтобы возвестить над трупами продолжение жизни.

Хозяйка зажгла свет, и лица зрителей, только что налитые кровью в полумраке, снова стали заурядными лицами со следами повседневной жизни, следами плохих лезвий для бритвы, геморроя, табака и возраста, дел, денег, детей и планов на счастливое будущее. Абакасов удивленно смотрел на них попеременно в поисках только что виденного и не находя. "И в голубой нельзя", - пробормотал он, - "И в белый".

А в комнате пошел разговор, ненужный и нудный, как морская качка, - умный пошел разговор.

"Может быть, обесцветить?" - бормотал Абакасов. - "Но разве дело в цвете?"

- Что? - спросил его один из гостей.

Абакасов взглянул на него - и вдруг увидел: за синевой щек и зеленью глаз, за темной пашней морщин, пшеничным полем волос и склонами висков встает раскаленное солнце, и отсвет его течет в ручьях красной крови за всей этой красотой. Потрясенный, смотрел Абакасов на невиданное им прежде зрелище, на человека смотрел, улыбаясь от растущего восторга и удивления, пока человек не обиделся и не повернулся к нему затылком, похожим на ежа.

Конечно, и про тебя могут сочинить всякое, вроде как про Синюю Бороду, и, конечно, волосы дыбом встанут, как вообразишь, но все-таки каждое утро и каждый час и миг в тебе восходит солнце, хоть ты, может, не замечаешь, и не надо ничего не отмывать, ни перекрашивать, а только всматриваться и вникать.

9.

Щемилов у Абакасова

- Я первый раз в жизни пью, потому что я вас уважаю, - сказал Абакасов.

Они сидели у Абакасова, и Щемилов рад был теплу, еде и возможности выпить, а Абакасов смотрел на него вдохновенным взглядом, потому что ему и в голову не приходило, что такое бывает не в книгах, а на самом деле.

- А вы ешьте, - сказал Щемиллов, улыбаясь.

- Я вам все хочу рассказать, - сказал Абакасов. - Потому что я вам верю. - Вы очень большой, но вы не циклоп.

- Мне шестьдесят лет, - сказал Щемиллов, - а я еще не видел, чтобы получалось все рассказать.

- Где вы живете? - спросил Абакасов. - Я к вам приду.

- Пока что нет у меня жилья, - сказал Щемиллов.

- Адрес какой, где прописаны?

- Нигде пока.

- А почему?

- Сам не знаю, - сказал Щемиллов. - Так как-то получилось. Не заботился, наверно.

- Теперь вы будете жить тут, у меня, - сказал Абакасов, уронил голову на руки и заснул.

Щемиллов поднял его и положил на кровать, потом раздел и накрыл одеялом.

- Женщины тебя растили, женщины, - сказал он спящему.

В дверь постучали и вошла Елена Петровна.

- Здравствуйте, - сказала она, застенчиво потупив взгляд.

Блестящий карий глаз Щемиллова мгновенно проклюнул ее и старый скульптор сказал галантно:

- Приветствую тебя, исчадь маленького ада!

- Почему вы так называли меня? - спросила Елена Петровна, подходя поближе к Щемиллову.

- Потому что великая тайна сокрыта в груди францисканского монаха, совратившего блудницу на путь истинный, - ответил Щемиллов.

- Вы, наверно, пьяны? - спросила Елена Петровна и не стала подходить еще ближе.

- Русская женщина большая-большая, - стал напевать, чуть раскачиваясь Щемиллов. - А японская женщина маленькая-маленькая.

Елена Петровна поглядела на Щемиллова с некоторым сомнением и даже испугом, а он закружился по комнате и продолжал напевать, взмахивая руками.

У русской женщины нога большая-большая.

А у японской женщины нога маленькая-маленькая.

У русской женщины грудь большая-большая.

А у японской женщины грудь маленькая-маленькая.

- Такие вещи нехорошо говорить даме при первом знакомстве, - сказала Елена Петровна и попятилась к двери. - Щемиллов закрутился вокруг нее, потом остановился над ней, наклонившись, бешеные гла-

за его, казалось, прикоснулись к глазам Елены Петровны, и ~~как~~ свистящим шепотом он продолжал:

У русской женщины задница большая-большая...

- Ай! - не выдержала Елена Петровна и выскочила из комнаты.

- А у японской женщины маленькая-маленькая, - спокойным голосом сказал Щемиллов и сел к столу.

Абакасов застонал, Щемиллов поправил на нем одеяло.

- Спи, отвезный человечек, - сказал он тихо, - Я прикрою тебя крылом, пока ты не выздоровеешь от мозговых болезней и словесной каши, которой перекормили тебя умные люди.

10.

Абакасов гуляет, не понимая всего до конца

Иногда Абакасову казалось, что еще совсем немного, минута какая-то, и он все поймет до конца и все наладит в нашем мире, и тогда он срывался с места и шел гулять, чтобы сосредоточиться и не упустить.

Так было и в этот день, день праздника трудящихся, и Абакасов прошел мимо знакомой цветочницы.

На Невском проспекте, у дома, где прежде делали швейные машины, а теперь ничего не делает, а только продают литературу, стояла много лет эта цветочница, торгуя астрами. Несколько лет, а, точнее, осеней, покупал у нее астры Абакасов ни для кого, а просто сочувствуя, что она стоит, а цветы у нее не покупают. Через год он начал говорить ей "здравствуйте", а через пять лет с удивлением взглянул на нее вот сейчас - и увидел очередную необъяснимую душу, смотрящую на него из-под сиреневого вязаного платка.

- Только астры у вас, - сказал он. - Одни только астры.

- Недолго уже осталось, скоро уже, - сказала ему эта душа. - Сад у сестры, я у нее проживаю и ем, и вот цветы вожу продавать.

- А что скоро? - спросил Абакасов.

- Книгу я пишу, сказала цветочница. - О жизни своей. О Смольном институте, о Париже и о потом. Скоро кончу.

- А когда кончите, что тогда?

- Не придется цветами торговать, - сказала цветочница.

- Проживу тогда и без этого.

Абакасов смутился и сказал:

- Это будет роман?

- Роман, - вздохнула цветочница. - Возьмите вот эти, сиреневые.

- Спасибо, - сказал Абакасов.

- Сиреневые, как небо, - сказала цветочница.

Абакасов пошел дальше, рассматривая небо, хотя начал накрапывать дождь. Эту цветочницу тоже надо было понять, а как же иначе, не то картина могла получиться неполная.

Был праздничный день. Зажглась иллюминация, по улицам разлилось беспорядочное множество народу, и Абакасову казалось, что кого-то ищут, а, может быть, и его самого. И он, высоко подняв голову, устремился навстречу опасности, чтобы спрятаться среди ищущих.

На его пути неожиданно встал человек несусветного роста с разинутым ртом, с рыжими волосами, пылающими, как факел на роstralь-ной колонне. Ковшами рук человек причинял беспокойство прохожим, особенно женщинам, которые даже ради праздника не любят, чтобы публично роняли их достоинство, и потому оглашали улицу вокруг этого человека протестами, а их мужчины хорохорились, бессильные, однако, против такого верзилы.

- Не зуди! - покрикивало рыжее чудо-юдо на протестующих.

Абакасов не сразу заметил, что рыжего ведет по волнам праздника маленькая женщина, то подходящая вплотную и тянущая его за рукав, то уходящая в отчаянии вперед, и похожа она была на паракорд, увлекающий за собой баржу с грузом.

Чего смотришь? - спросил рыжий у Абакасова, заметив на себе удивленный взгляд.

- Чтобы понять, - сказал Абакасов с твердым презрением к смерти.

- Ах, ты, сука, - возразил рыжий. - Да я из тебя душу выну и в Неву закину, мелочь такая, чекушка.

- Ну, перестань! - подплыла к нему женщина.

- Гуляй отсюда, - сказал рыжий через плечо Абакасову, увлекаемый женщиной. - Ты, шпрот-недоросток!

И Абакасов удалился тоже и зашел в уединенный край города, где не было ни иллюминации, ни шума, ни людей, чтобы и рыжего тоже понять.

И услышал он из окна песню.

Тихая песня жила в тишине, как птица в гнезде, и напевала невидимым голосом, что родина спит вся, до последней травинки, что льется свет на сессчетные крыши и блестит росинками, что снится родине светлый сон - может быть, покой, а может быть, по-детски чистая совесть. Тихая песня звучала из окна, как молитва, о странствующих и путешествующих, о бодрствующих в ночи, и пела ее белокурая

и хрупкая женщина засыпающему сыну, и Абакасов на цыпочках прошел мимо окна, удивляясь, кто это поет и почему.

Если бы, ощутив в этот поздний час, что больше ничего и не надо ему, если бы унес он эту песню с собой, то больше ничего, действительно, и не надо. А песня сделала все, что могла, и тянулась за ним не одну версту, словно просила, но он ушел, сосредоточенный, так высоко подняв голову, что выше уже некуда.

Ах, как надо маленьким людям все понять до конца.

II.

Выставка Щемилова

И вот для Щемилова в виде приятности и чтобы поддержать устроена была выставка его произведений в квартире у Николая Васильевича, друга Щемилова еще по школьной скамье, и многие приходили посмотреть, и Абакасов тоже пришел удивляться, стесняясь своей внезапной любви к человеку-орлу.

Удивляться потому, что как это человек решился и сделал, не имея полной уверенности, что все до конца обдумал. И не знал Абакасов, что недалек уже конец, а если бы знал, то разбилось бы его влюбленное сердце.

Щемиллов кружил среди своих сочинений на темы нашего повседневного бытия в его вечном значении, среди созданий своих из чего попало — из папье-маше, из дерева, бутылок, тряпок, консервных банок и прочих отходов, которые называются обычно мусором и которыми пользовался скульптор, не имеющий денег, ни мастерской, а только руки и голову на плечах.

— Вот он, вот он! — кричал Щемиллов, выхватывая из числа своих созданий какое-нибудь одно — шарик, обтянутый посеребренной тканью с двумя точками-глазами, например. — Вот он, герой нашего времени, наших президиумов, принц-бюрократ, тунеядец с серебряным черепом, Вот его круглость, его ледяная пустота. А где же твои пухлые ручки, которыми ты пошлепываешь, аплодируя своему сиятельству? Это поверхность твоя, только поверхность, а вот и нутро твое — вот ты, оказывается, какой за безобидной серебряной крышкой!

И Щемиллов вытаскивал на свет божий маску с дырками вместо глаз, с клыками, а дырка была прикрыта пенсне, а под клыками была бабочка галстука.

Маска, головы и группы вертелись в хороводе, подгоняемые гортанными вскриками Щемилова. Распалась квартира Николая Васильевича.

ча, слетел потолок, лепестками упали стены, и вот уже над Россией понеслись в вихре эти создания, приземляясь то здесь, то там то пророкам редкой красоты, вывернувшим ладони навстречу счастливому будущему, то в марше идущим туловищем без головы с огромными ручищами, то благостным постным ликом, борода клинышком — он, конечно, очень хочет всяких там политических свобод, но ему и так неплохо, он подождет, не беспокойтесь; то старушкой в деревне, присевшей на пенек, и пенё выбросил ветку-руку в небо за милостыней, в деревне, навсегда и бесповоротно выпавшей из всеобщей истории; то пучеглазым палачом в массовом застенке. То лицо-хамелеон, то лицо-наполеон, то сытость, то святость, то трусость, то глупость — все они кругами неслись над Уралом и Таймыром, над Сувалками и Памиром, над Тулой и Верхотурьем, над Магаданом и Краснодаром, над степями и реками, над кранами и тракторами, как ангелы неслись, как воронье, с карканьем, сверканьем, стонами и спорами.

— Уф, — сказал Абакасов, поднимая глаза на Щемилова и снова обнаруживая себя в комнате с четырьмя стенами, потолком и под крылом старого друга.

И тут он заметил, что в углу комнаты, прежде неувиденная, сидит женщина лет тридцати, стройная, как гречанка, черноволосая и яркая и смотрит, улыбаясь бесконечной любовью на Щемилова.

— Здравствуйте, — сказал Абакасов, вставая, а женщина протянула ему руку, и он эту руку поцеловал.

Сосед Петя, пришедший с Абакасовым, уставился на женщину еще напряженнее, чем на произведения Щемилова, и сказал:

— А вы все время тут были?

— Нет, — сказал Щемиллов. — Это все я, чтобы отдохнуть от безобразия, потому что нужна ведь красота несказанная тоже, иначе зачем понимать всех этих оборотней и вурдалаков?

— Как это — я? — спросил Петя.

— Именем божьим, именем божьим, — сказал Щемиллов, — Из ничего.

— Это правда? — спросил Петя у женщины.

— А что тут такого? — сказала женщина. — Он все может.

— Постой, — сказал Щемиллов, пристально глядя на женщину. —

А если так?

И он притронулся рукой к ее волосам, поправляя, и волосы стали белыми, а молодое лицо смотрело на него из-под седины, сияя.

— Нет, — сказал Щемиллов со страхом. — Нет. Чур меня, отойди, сатана.

И он снова тронул рукой, и волосы снова стали черными,
 - Можно я завтра принесу вам цветы? - спросил Петя у женщины,
 - Как бы ко дню рождения?

Женщина сказала, что можно, и дала ему адрес.

- Простите меня, - сказал Щемиллов и развел руками и наклонил голову. - Простите, что вижу творение рук божьих как оно есть, и себя в том числе, отнюдь не прекрасным и не венцом, а как оно есть. Всем русским миром рванулись мы и разбили лицо о стекло, что мерещилось далью, и осколки - вот они здесь, перед вами, такие, как я сумел рассмотреть и показать, в гордыне они и страхе, такие как есть, самодовольные снаружи, вот что меня пугает больше всего.

- Не бойся, - сказала женщина, и Щемиллов спрятал лицо ей в колени, а красота и мир ее рук обняли его плечи.

19.

Рынок

Какая толчея на рынке по утрам! Вот, например, Сенной, где сразу за аркой, возвещающей начало торгового мира, распускаются клумбы и палисадники белых и красных пионов, разноцветных, вплоть до перламутровых, тюльпанов, охапок сирени - дворцы стали горячим изнутри пеплом, но не рассыпались в прах, держатся, дрожа, и это сирень, - россыпей ландыша, а дальше, в глубине, вокруг мясного и молочного павильонов, торчат пучки редиски, кровоточит клубника на подносах, пылает крупная дробь черешен, шуршит лавровый лист в пакетиках, на которых запечатлена вся мудрость человечества - и законы Архимеда из учебника физики, и опыт передовых животноводов, и стихи поэта Николая Тряпкина из Смоленска, а порой и такие тексты, что кощунственно их упоминать, дабы не нарушить стройного взгляда на историю и ее ценности у подрастающего поколения. Или, тоже например, Мальцевский, величественный, как концертный зал или собор, где под общий хор присутствующих каждый продукт поет свою особую песню - груды яблок про зеленую Винницу, чьи ночи душисты и черны, ядовито-желтая алыча поет про роскошь и оскомину кавказских садов, а купоросная зелень огурцов ведет песню про морские водоросли подводного мира, где русалки, дельфины и, конечно, Садко; а над все господствует человек, царь этой природы, борясь сильно, но со страстью за каждую копейку.

Надменный грузин, морщинистый, как сушеный инжир, обиженно

сидит в обороне за весами с персиками, над которыми хоруговь свисает фантастическая цена; румяная, в красном платке плывет над помидорами украинская баба, сама, как помидор, и в плавности ее парения в поволоке жгучих глаз – вся грусть ее подвала где-нибудь на Молдаванке, откуда снизу вверх глядит она на движущихся мимо людей, не зная, чего ей хочется, о чем тоскует – не то об усатом матросе и зыбкой палубе под ногами, не то о золотом самоваре, а пока, до выяснения, торгуя помидорами рачительно и с толком; блещет неправильностью речи, высоким качеством товара и щепетильной честностью эстонская чета – супруг в серой шляпе, песочной куртке с засученными рукавами, и супруга в вязаной кофточке и вязаном платке, и блестят обручальные кольца на их руках, движущихся в такт и дружных, только рука у женщины белее и крупнее. И деловито на рынке и забываешь, что в воздухе столько веков уже носится над нашей родиной пугачевщина, готовая взорваться в любой момент.

В этот мир природы и ее мирного царя вошел Абакасов с другом своим Петей, чтобы выбрать букет для подарка новорожденной женщине.

– Знаете, – говорил Петя, – я заметил, она редко улыбается, но когда да, то это да! Как жемчужка магния, как проявление мирового духа, к тому же она брюнетка, а глаза зеленые. В общем я думаю, что она прекраснее Джинны Лоллобриджицы и умнее Франсуазы Саган. Очень трудно выбрать ей букет.

– Есть два крайних способа составления букета, описанные в литературе, и оба они банальны, – сказал Абакасов. – Один это скупка подряд, по-купечески, чтобы женщина сама сортировала цветы по вазам и графинам в полное свое удовольствие. Другой – это букет одноцветный, но много, например охапка роз. Мы же создадим в букете портрет ее, я думаю.

Они подходили к парадной ее дома, неся полный портрет, рожденный знанием Абакасова и любовью Пети – он был велик. Этот портрет, где в темных облаках васильков была гроза белых маков и светлой надеждой белели лилии среди плодородной зелени.

Женщина открыла им дверь – и они узнали ее во всем блеске.

– Вчера умер Щемиллов, – сказала женщина.

13.

Речь, а вернее слово отца Всеволода над тихо лежащим
Щемилловым

В приделе справа орали младенцы в очереди на руках у женщин, Орали перед крещением, и это был не первый их крик, а тоже очеред-

ной, и молодой поп, похожий на переодетого следователя по особо важным делам — откормленный, с глазами цвета золотой пуговицы, небритый — в блеске свечей крестил деловито всех этих Александров и Татьян, Сергеев и Наталий, готовя их к вечной жизни, когда смертью одолев смерть они перестанут брать и предстанут перед создателем своим, чтобы выяснить наконец, что же все это значило, что остаюсь позади, и в чем тут замысел, и каково же было их место в этом замысле. Так пожелаем им сказать в ту минуту "а, вот, оказывается, в чем дело!" и начать далее вечную жизнь, и пусть это не будет мрак и скрежет зубовой — зубов у них, например, пока и вовсе нет и вообще они еще очень небольшие, хотя орут куда как громче взрослых.

Много удивительного вокруг, если, повторяю, вникнуть, и Абакасов стоял в храме, удивленно глядя на тихо лежащего Шемилова — лежащего неподвижно, однако с улыбкой, но не с той улыбкой, в которой скачут бесы и с которой слетают, подмигивая, искры взаимопонимания, а с улыбкой просто, про себя, настолько про себя, что даже глаза были закрыты.

Отец Всеволод, лысый и немного полный, с видом хозяйственного мужика, знающего, как что соорудить и куда забить тот бесценный гвоздик, который он держит в зубах, распрямив его перед тем как, что тот стал прямее покупаемого, отец Всеволод со лбом Сократа и носом, по-славянски скошенным в сторону и задраным природой кверху, сказал такое вот приблизительно слово:

Пределно велик господь и даже беспредельно велик он, и все перед ним равны — и машинист первого класса, и художник, и даже милиционер, а также равны все народы. Но если попадается такой народ, что не сидится ему на одном месте, что ворочается он с боку на бок вместо того, чтобы спать, как положено; если обуревают его страсти, а на все божья воля, то указывает на такой народ перст божий, и тогда держись, ибо этот перст всегда крест, и это тяжело, хотя лучшего нельзя и представить. И в каждом народе, включая беспокойные в первую очередь, появиться могут наряду с механизаторами и милиционерами такие люди, как вот он.

И отец Всеволод показал перстом на Шемилова и перекрестил его. А тот улыбнулся.

— Он не имел жилья и прописки, как имеем все мы, ни денег, кроме двадцати рублей пенсии на хлеб и на чай. И он делал денно и нощно разные штуки из глины, воска и даже тряпок, так как был он скульптором, а денег не имел. Так дожил он до шестидесяти лет, и

каждое новое его творение было непохоже на предыдущее, ибо он поднимался по лестнице, которую строил сам, к господу богу, ему подражая, ибо человек это тот же бог, только с недостатками, и человеку свойственно произносить слово и делать разные фигурки из глины и вдыхать в них жизнь. Иные, обладая даром, сотворят немного и починут на плодах своего труда, сытно кормясь и пожиная. А он постигал то, что хотел постичь, и перестали его понимать сначала все, а потом и близкие, но он не роптал. Пятьдесят лет я служу тебе, боже, изо всех сил, и вот если и этого ты не примешь в любовь свою, то просто не знаю, кого другого предложить и что делать, прости, господи. Сам посмотри — одежда на нем ветхая, тело его сухое и без жира, жить ему было негде, а он улыбается! И пусть были на нем грехи, то какие это грехи по сравнению с прочим — может, выпил когда за кампанию, если угостили, да выпив, стесняясь, чтобы не подумали о нем хорошо, эту песенку проклятую спел — а как я просил не петь ее, на исповедях просил. — "У русской женщины нога большая-большая", ну и так далее, не могу повторить, прости господи. Так что прями его, пожалуйста, очень тебя прошу и все мы просим.

— Господи-помилуй, господи-помилуй, господи, помилуй нас, — запел хор.

Все потом разошлись, а Абакасов пошел посмотреть, как крестит орущих, пузатых, красных младенцев в правом приделе молодой поп, похожий на следователя, и удивлялся, удивлялся, удивлялся безмерно.

14.

Чемоданы, очень много чемоданов

Каждый несет по жизни свой чемодан.

Он набит женой, детьми, разговорами и бесконечными обязательствами. И каждый укладывает в свой пухнувший чемодан все, что встречается на пути, укладывает самого себя, пока не уложит полностью и не успокоится в конце концов.

Чемодан был у Абакасова до сих пор пуст, и оттого жизненная походка у Абакасова была до сих пор непривычной. легкой.

Иногда он писал, присев к подоконнику, но не хранил и не прижимал к груди,нося написанное не в чемодане, а в голове, считая, что пока не нужно и вообще дело не дошло еще до рассвета.

Вот и сейчас сидит он боком у подоконника и пишет, не зажигая свет, а пользуясь от фонаря во дворе, что рядом с тополем.

Тихо вошла Елена Петровна и посмотрела на него: как бы уло-

жить его в свой чемодан, такого хрупкого, казалось бы, беззащитного, как дошкольник, но вот, однако, не получается.

- А у меня есть неприятности, - говорит она.

Абакасов встает в полной боевой готовности.

- Всем можно, а мне нельзя, - говорит она. - А я не хуже.

- Чемоданы, очень много чемоданов, - хмуро говорит Абакасов.

- Какие чемоданы? - говорит она.

- Тяжелые, - говорит он.

И она понимает, что опять не получилось, даже с помощью неприятностей, и выходит.

15.

Прошрое из-за угла

Когда вы так молоды, что словно летите навстречу ветру, вокруг вас танцует хоровод лиц, и не каждому вы придаете надлежащее значение, а вря - каждый встречный плетет ниточку, и вокруг вашей судьбы получается ко времени зрелости затвердевший кокон, похожий на вас, как карикатура, а вам и невдомек.

- Я женюсь и уезжаю на Сахалин, - сказал сосед Петя Абакасову.

- Счастливого пути, - сказал Абакасов и попытался что-то вспомнить и не смог.

Иногда, хоть и очень редко, в нашем городе совпадают воскресенье и солнце, и тогда все выходят на улицу, и везде становится тесно. Вышел и Абакасов с журналом "Природа" под мышкой и, размышляя, дошел до пригородного парка, где тоже было тесно.

Это было в конце весны, когда деревья пушисты, как цыплята, небо дрожит от солнечных лучей, сквозь мертвую траву прорастает живая и кусаются первые комары, а люди раздеваются навстречу солнцу до трикотажа, обнаруживая перезимовавшие тела, не такие уж молодые, как деревья и трава. А так как было очень тесно, особенно потому, что люди не стояли, а лежали и занимали больше места, то парк напоминал не то баню, не то поле боя, и деревья рвались вверх изо всех сил, вытягивая шеи, чтобы вздохнуть.

Вверх смотрел и Абакасов и потому не видел женщину, сидевшую на пне, и мальчика лет шестнадцати у ее ног, и не видел, как посмотрела на него глаза женщины, как еще беспомощнее повисли ее руки и как встал и пошел за ним следом мальчик.

Бывают среди женщин особенные, такие, у которых беспомощны руки и ноги, точно сделаны из ваты, хотя и красивы; а жизнь у та-

ких волнуется только в обреченных глазах. Они молчаливы и покорны, а, главное, доверчивы, так что для Христа и для Ганди они подходят вполне, а вы о них забываете, словно их и вовсе не было.

Мимо парка промчалась электричка, и странно было, что лежащие люди не запрыгали в разные от нее стороны, как лягушки.

И неожиданно, будто из-за угла, встал перед Абакасовым этот мальчик и сказал:

- Здравствуй, отец.

Вот и пригодилась Абакасову его постоянная боевая готовность.

- Я? - спросил он.

- Да, - сказал мальчик.

- Да, - сказал Абакасов. - Да-да.

Они сидели в комнате у Абакасова на одном подоконнике после долгого разговора и мальчик, осмотрев сокровища его души самозванными глазами молодости, теперь смотрел на черты его лица, и был этот воскресный день днем страшного суда для Абакасова. И в самом конце разговора мальчик спросил:

- И это все? Только ждал - и все?

- Я многое понял, - сказал Абакасов и слизнул с губ слово "сын".

- Ну и что? - спросил сын.

- А что? - спросил Абакасов.

- Ты эмигрант, - сказал сын, и Абакасов встал гордо, как капитан на мостике тонущего флагамена.

- Нет, - сказал Абакасов. - Я, наверно, сторож. Ночной сторож.

Сын рассматривал его морщины - ведь время, как дятел, долбит ваше лицо, пока вы летите навстречу ветру, а вам и невдомек, воображая, что молоды.

- Она не придет, - сказал сын. - Это я сам догадался, а она и не знает.

Странно, что у маленького Абакасова и такой хрупкой женщины был такой высокий сын.

- Да, - сказал Абакасов. - Наверно, все-таки сторож.

- А кому это было нужно? И сейчас? - спросил сын.

- Наверно, богу, - сказал Абакасов, и услышал от сына то, чего боялся:

- Этот тут ни при чем. Не прячься за бога.

Впервые за всю свою жизнь встал Абакасов на следующий день заурядно, не надевая доспехи и не побрившись, и только постояв перед черкалом и посмотрев на себя в неслыханном удивлении. Он слы-

шал "прошай", которое ему сказал неожиданный сын, и свет от этого :
прошай направлен был не в прошлое, нет.

I 6.

Птенец в руке

Несколько дней назад ушел из жизни Абакасова его сын, спиной
еще не возмужавшей ушел, и вот Абакасов сидел, последний раз удив-
ляясь.

- Можно попрощаться? - спросила весело Елена Петровна, явля-
ясь в дверях. - Я выхожу замуж.

- Нет, - сказал Абакасов и так, что она исчезла.

- Можно попрощаться? - спросил Петя, приоткрыв дверь.

- Нет, - сказал Абакасов.

- Можно? - спросили Витя и Вова, пришедшие проведать.

- Нет, - твердо сказал Абакасов.

А Щемилова не было.

Удивленно смотрел Абакасов на маленького птенца в руке - на
свою жизнь. Удивленно вспоминал прошлое - где же оно? Вот шел, шел
а так недалеко от начала.

Что это? Размеренно шагал, совпадая в ритме с неповоротливой
эпохой, и проморгал.

Надо немедленно, сейчас, скорее превратить птенца в птицу.

Но как?

I 7.

Беспокойный конец Абакасова

Ранним-преранным утром, когда мир еще спит всем миром, на
улицу вышел Абакасов, неся под мышкой длинный, как мачта, предмет.
С окон облетела ночная дремота, вековая дремота, и они смотрели
проясняющимися глазами, светлея навстречу заре.

Заря уже не обманывала Абакасова и он непреклонно пошел к
площади. Сверху вниз глядели черные блестящие атланты Зимнего двор-
ца, обрамленные ношей, смотрели укоризненно на человека необремене-
нного. Сверху вниз смотрели розовые облака, взлетевшие высоко без
ноши и без мечты. И только окна смотрели вверх, в небо, просыпаясь,
по-детски чистые и промытые рассветом.

Непреклонно подняв голову, вышел Абакасов на пустынную пло-
щадь и там поставил свою мачту, развернул намотанное на нее знамя

и побежал вперед, неся его над головой, как парус.

Бог его знает, что он хотел этим сказать и, главное, кому, потому что было очень рано и никого вокруг не было. Падал ангел с колонны под тяжестью креста и смотрел, как по растрескавшейся площади, бескрайней, как Тихий океан, как полушарие Земли, бежит со знаменем в руках маленький Абакасов. И вот уменьшается площадь, и нет уже ангела, и далеко внизу в сером просторе площади алая капелька паруса тонет в тумане утренних лучей.

Э П И Л О Г И

I.

Пора прощаться

Ресторан плавал на Неве.

Качался пол и качалось небо, как еврей в жалобах Иегове; как русский, выдерживая в вечном "эй, ухнем!".

Молчаливый пилот улыбался женщине Нонне ободряюще и так, что я тоже ему улыбался.

- А папа в Риме грешен, и все тут! - сказал летчик Тютчев решительным голосом.

- Этого никто не поймет, - сказал писатель Карнаухов, - влияние церкви падает, и все такие мысли позабыты, потому что интеллект обанкротился. А все-таки обидно, что впереди такая судьба.

- Не каркай, - сказала женщина Нонна. - Ты скажи. - Это она мне приказала. - Только не про звезду. Хватит про твою звезду.

- Дело в том, - сказал я волнуясь, потому что говорил среди знатоков такой величины, - что быть зерном для будущей жатвы обидно, если желать не отдавать, а наоборот, но не на кого обижаться, так как жатва есть жатва.

Молчаливый пилот посмотрел на секундомер и встал, натягивая перчатки.

- Прощайтесь. Пора, - сказал он тихо.

Я обнял мою женщину Нонну, и она сказала мне голосом ребенка, уставшего переживать:

- Да, пора.

И замерла в моих руках, как ребенок на грани слез.

- Пойдите, - сказал Карнаухов. - В этот час я должен сказать, потому что не написал и теперь уже не напишу никогда. Конечно, горько, но в качестве расплаты за то, чтонесли всем народом и потеряли, не заметив, в качестве именно расплаты.

- А все равно папа грешен! - сказал летчик Тютчев и стукнул обоими кулаками по столу, вставая.

- Ты прав, испытатель, только этого никто не поймет, - сказал писатель Карнаухов. - Давайте расплачиваться.

2.

Потерянный эпилог

Дымное небо в багровых гусеницах, а поле желтое, и, рассекая поле, пролегла дорога, и уходит по ней колонна солдат. Ветер с трудом ворочает тучи, тяжелые, как несгораемые шкафы, и тучи гремят

и грохочут. Белые цветы взлетают в небо и возносят тучи на лепестках ослепительного света, и пчелами вьются среди этих цветов серебристые птицы. Стерня торчит, как гвозди, и невидимые люди полчищами бродят по этой стерне, а среди них и дети и даже собиком, и вдоволь видений вокруг дороги на резную потребность. Колонна идет по мягкой пыльной дороге, под водительством песни, еле слышной внутри громахания, рева, стуков и визга. Отдельные слова песни, долетая, звучат согласно с тысячами сапог, над которыми туловища и головы с разными лицами и с разными видениями перед собой. И несут сапоги на подошвах пыль и тяжесть тысячелетнего пути, и конец дороги упирается в беспросветный горизонт, сверкающий белыми цветами на грозовой и густой глубине.

Идет в колонне летчик Тютчев, спокойно ждет, будто на рыбалку, будто не с автоматом, а с удочкой, не в пригнанной амуниции, а в кожаной куртке, брошенной на плечи, с куском сахара в кармане для встречных детей, чтобы отвлеклись их глаза, может, и встретятся на пути.

Зеленые глаза блеснули из сплоченных рядов — уж не Каин ли это идет, неся крошечное горе туда, куда направляется во всеоружии личной озверелости, с особой хваткой и опытом? Но всемеро отомстится всякому, кто убьет Каина, а кто его убьет, если мы не убили, оставив другим трогать волосы на этой голове.

Ноги мои, как вы устали идти вместе со всеми, и не хочется вам вперед. Лучше бы я отошел и сел у обочины отдохнуть, чтобы испарился путь хоть с моих драгоценных лично для меня подошв, но не позволяет мне отойти не то любопытство, не то что-то, живущее не в сердце, а что ли в животе, но отнюдь не доблесть, не совесть и не возвышенные понятия.

А вот небритый Абакасов, выбитый из седла собственным сыном, шагает глядя перед собой. Так и оказался он не готов, когда жизнь просвистела мимо, не прослушав запасенных им слов, высуженных в теплой комнате, хоть он и не виноват. И вставили его в общий строй, словно патрон в обойму, чтобы шагал, а там разберемся.

А женщины не здесь, они в видениях, где-то над и вне белых цветов, и для каждого солдата в строю — свои.

— У меня не получается больше идти, — сказали Витя и Вова.

— Держитесь за меня, — сказал летчик Тютчев и расправил плечи, в которых ему всегда было тесно.

3.

Самый последний эпилог

Что это я вижу напоследок в тонкой полосе заката над Черной речкой? Что это мне померещилось вдруг за самой последней чертой?

В Колорадо я вижу Марию, в Мельбурне я вижу Стеллу, под африканским солнцем чистит негру ботинки мальчик Гоша, протянул единственную руку за подающим солдат Тимохин в Голулу, а еврей Факторович, похожий на Агасфера, говорит ему голосом, охришим от голода и старости:

- Моисей вывел нас из Египта, и вот мы рассеялись по свету, чтобы скитаться с собственной судьбой в горсти и с Иеговой в сердце, один за всех, и все - за одного. А вы рассеяны теперь по свету тоже, но это вам внове, и любя ближнего; как самого себя, что вам остается, как стать этим ближним, ты следишь за моей мыслью?

- Мы тоже - один за всех, - сказал солдат Тимохин.

- Нет, - сказал еврей Факторович. - У вас все - это все, а у нас все - это мы, и только.

- Почему это - и только? А мы? - дико закричал солдат Тимохин

И полисмен повел его в участок, похожий не то на шею жирафа, не то на хобот слона.

. . . и приде скорый на помощь
святой Никола, поморю хождаше
яко по суху.



... но надо всем господствовала сверкающая золотыми куполами Никольская церковь. Она была одним из самых роскошных и внушительных среди петербургских храмов. В раннем детстве, однако, мое отношение к ней было какое-то смешанное, складывалось оно из любопытства, почитания и жути. Я не мог отделаться от впечатления, что вся эта группа из пяти вышек составляла какую-то семью богатырей, чела коих были украшены шлемами, и что старший из них, стоявший в середине, и есть "сам Боженька", что на его лице написано скорбно-строгое выражение. Когда я себя чувствовал в чем-либо виноватым, то именно этот Боженька, казалось, глядел на меня с особой укоризной, а то и гневом. Нижняя часть Николы Морского была несравненно приветливее. В многоугольном плане его стен, в кудрявых **капителах**, в бесчисленных херувимах, которые барахтаются в пухлых облаках над окнами и дверями, в узорчатых, частью позолоченных балконах, в лепном сиянии, окружающем среднее овальное окно, — выражено нечто радостное, все приглашает не столько к посту и покаянию, сколько к хвале Господа, к празднованию Его великих благодеяний. Я не уставал все эти подробности разглядывать и, вероятно, от этого "интимного" знакомства с чудесным произведением XVIII в, родилось мое восторженное отношение к искусству барокко.

/А.Н.Бенуа. Мои воспоминания/

16 апреля 1752 года состоялся высочайший Её Императорского Величества Государыни Императрицы Елизаветы Петровны Указ о построении каменной морской полковой церкви, против прежней ветхой деревянной, бывшей на морском полковом дворе. /.../

... как до построения сего собора, так и во время строения одного /с 1752 по 1762 год/, жителями этой местности были исключительно морские служители высших и низших чинов...

С готовностью и поспешностью Коллегия взялась за это дело, поручив немедленно состоявшему при Адмиралтействе архитектору Чевакинскому составить смету материалов и план предполагаемой церкви.

/Протоирей Сила Топильский. Морской
Богоявленский собор, СПб, 1971/



В долине у города Миры /.../ до сих пор сохранился монастырь и храм св. Сиона, где по преданию некогда покоились мощи святого Николая. /.../ Г. Тексье нашел там нескольких невежественных греческих монахов, которые, игнорируют, что мощи св.Николая еще в XI веке увезены в Бари, показывали ему эти мощи. Другому путешественнику та же монахи сообщили, что мощи св. Николая перевезены в Петербург русским фрегатом.

/Е.В.Аничков. Микола-угодник и св.Николай, СПб, 1892/

В соборе покоится частица мощей святителя и чудотворца Николая, вместе с частицею мощей св. Александра, мученика I века. Её Императорское Величество, ныне в Базе почивающая Государыня Императрица Александра Федоровна, во время пребывания своего в Неаполе, изъявила желание иметь частицу мощей св. Николая чудотворца с частицей мощей мученика Александра, и, по возвращении в Россию, высочайше повелеть соизволила передать оныя в Никольский собор, 5 декабря 1847 года, накануне храмового праздника, в 3 часа пополудни, святые мощи были торжественно встречены и внесены в собор для подобающего чествования православными христианами. В свидетельстве, данном из Рима 29 октября 1847 года о частицах святых мощей, сказано, что они "от костей святых останков".

/Протирей Сила Топильский. Морской Богоявленский собор, СПб, 1871/.

А.А.Ахматовой

Когда у Николы Морского
 Лежала в цветах нищета,
 Смирненное чуждое слово
 Светилось темно и сурово
 На воске державного рта.

Но смысл его был непонятен,
 А если понять — не сберечь,
 И был он, как небыль, невнятен
 И разве что в трепете пятен
 Вокруг оплывающих свеч.

И тень бездомовной гордыни
 По черному невшскому льду,
 По снежной балтийской пустыне
 И по Адриатике синей
 Летела у всех на виду.

Арсений Тарковский

Они /русские/ верят, что если человек перед смертью получил благословение священника и небольшую записку, как удостоверение, написанное священником святому Николаю, в том, что умер в истинной христианской вере, и если с этой записочкой, сложенной между пальцами его, положат его в могилу, то ему открыт доступ в небо.

/ Джон Перри. Состояние России при нынешнем царе
 /пер. с англ. изд. 1716 г./ М., 1871/

Он /храм/ заключает в себе облик Бога и, замыкая его в своей затворенности, допускает, чтобы облик Бога через открытую колоннаду выступал в священную округу храма. Посредством храма Бог пребывает в храме. И это пребывание Бога само по себе есть эта простирающаяся и замыкающаяся в своих пределах священная округа. Храм и округа храма не теряются в неопределенности очертаний. Творение храма слагает и собирает вокруг себя единство путей и связей, на которых и в которых рождение и смерть, проклятие и благословение, победа и поражение, стойкость и падение создают облик судьбы человеческого племени. Владычествующий простор этих разверстых связей есть мир народа в его историческом совершении. Из этих просторов, в этих просторах народ впервые возвращается к самому себе, дабы исполнить свое предназначение.

/Мартин Хайдеггер. Исток художественного творения/

